

ЙОЛЕ СТАНИШИЧ
ГОЛЫЙ ОСТРОВ – ДНО АДА

ЈОЛЕ СТАНИШИЋ

**ГОЛИ ОТОК –
ДНО ПАКЛА**

БАХАЗАР
2012

ЙОЛЕ СТАНИШИЧ

**ГОЛЫЙ ОСТРОВ –
ДНО АДА**

БАХАЗАР
2012

84.4Ю
С-77

886.1-1

Авторизованный перевод
с сербского

В оформлении использованы
работы *Эдди Мосиэва*

Станишич, Йоле

Голый остров – дно ада: [Стихотворения] / Авторизованный перевод с сербского; Беседа с автором А. Базилевского. – Москва – Даниловград: Вахазар, 2012. – 192 с.

ISBN 978-5-88190-077-9 »Вахазар«

© Йоле Станишић. Текст, 1951-2012.

© Анатолий Аквилев, Андрей Базилевский, Семён Ботвинник, Александр Гитович, Сергей Давыдов, Михаил Дудин, Вячеслав Кузнецов, Всеволод Рождественский, Николай Скрёбов, Виктор Соснора.
Перевод, 1966-2012.

© Эдди Мосиэв. Иллюстрации, 1966.

*Посвящается
югославским патриотам, коммунистам,
убитым в застенках тирании,
тем, кто умер после освобождения,
и тем, кто ещё жив,
кто сохранил своё достоинство и убеждения*



Автор, студент Белградского университета,
перед арестом (1949)

Ядран

Одни с этих волн срывают
золото лунного света,
другие – звуки гитары...

Для одних это море –
несжатая нива,
белый парус на грани прилива,
безбрежная песня,
а мне –
вокруг сердца гранитные плиты,
железо на чёрном окне.

Одни с этих волн срывают
золото лунного света,
другим – не увидеть рассвета...

Море тень берегов качает.
Гитара звенит над волнами,
а я всё считаю чаек
над связанными руками.

* * *

Злодейство прильнуло ухом к моему дому,
я не могу открыть окно;
день не может войти;
не может войти зелёная ветка
ко мне в жилище.

Я не могу открыть окно.
И не хочу его открывать,
чтоб не вошло дыхание сатанинское.

Злодейство охотится на моё сердце.
Закрываю окна и двери,
а когти злодейства проникают сквозь стену,
вспарывают мне кожу,
проламывают рёбра,
бешено рвутся к сердцу.

Вот-вот когти пробьют кору моего сердца,
а они застыли –
ждут, что сердце само
им покорится.

Сердце не оборачивается –
следует своему ритму.
Неужели оно
так и останется в этих когтях?
Сердце не умеет молчать,
ему не дано покориться.

* * *

Кровью облитый мрамор –
до дна холодного моря.
Стал синим до неба мрамор
от голодного моря.

Солнце голову приклонило
к небесному куполу голому.
Все платки облаков не в силах
обтереть кровавую голову.

И надежде
сквозь мрачный мрамор
не доплыть по волнам кровавым.

* * *

Идёт утро босое,
идёт
по колено в крови.

Сейчас мы встретимся,
и оно меня окровавит
или в крови утопит.

Я вышел навстречу весне.
Напрасно –
сегодня утром весна
погибнет в крови.

* * *

О Ядран – зеркало,
от крови солёное,
на воплях взнесённое
над трещиной
двадцатого века!

О Ядран, Ядран,
солнечно-голубое пекло!
Тебе – мой стих и моё проклятье,
берегами зелёное,
слезами солёное,
на воплях взнесённое
кровавое зеркало!

Расстояние

Между мной и вольной волей
волны моря пролегли –
провода ржавой болью
молча жжёт глаза мои...
Но восстанут из молчанья
гнев и горе старых ран:
между мной и палачами –
ненависти океан!

Мала Драга

Узкий каньон,
проструганный в обнажённом берегу
под коварными дулами пулемётов,
обнесённый стеной,
оплетённый колючей проволокой.

Связанную колонну
протаскивают сквозь бойню строя.

Рог месяца выглянуть не смеет –
его окровавят крики,
разобьют гейзеры ненависти.

Израженная холодная глыба
встала дыбом в крови;
стонет ночь,
растоптанная и голодная.

Крутящийся вихрь вздымает
паруса облаков,
шатает избитую вереницу
узников с поникшими головами.

На скалах пулемёты
и заросли колючей проволоки.
Над ними
ветер смерти рыдает.

* * *

Каменные острова
вечно в кольце оков
сизой морской пустыни.
Каменные острова
немы в ответ на зов
горной родной стихии.
Каменные острова
навек лишены надежды
вернуться на побережье.
Ослепли они от горя,
оглохли от расстояний.
Каменные острова
не могут бежать от моря.
В оковах воды бескрайней
беспомощными рабами
лежат с разбитыми лбами
каменные острова.

* * *

Солнце моё,
посиневшей тучей схваченное,
мои раны
тебя ослепят.

Если б ты видело
батоба и бичи,
которыми бьют нас
ночью и днём,
то со скалы бы прыгнуло в море
и навсегда разбилось,
чтоб не смотреть на камни
стона и крови.

* * *

Те, что выросли из этой земли
и озарили её рассветом,
пахали её и весну на ней взрастили,
руки ей развязали
и, израненную, освободили, –

для их костей не нашлось
и горсти чёрной земли –
с камнем на шее,
с цепями на руках
спят в глубинах моря.

Развяжите мне глаза!

Платком чернее ночи очи мне
как будто темнотою, завязали –
и гонят вновь по лезвиям камней
сквозь строй,
сквозь смерть
с закрытыми глазами.

Мне завязали гневные глаза,
чтоб палачей своих я не запомнил,
чтоб не увидел, как течёт слеза
по вздрогнувшей щеке каменоломни,
когда мой брат,
мой безымянный брат,
запрятанный под номером в темнице,
лежит,
откинув волосы назад,
и больше смерть ему уже не снится...

Над камнем окровавленным,
бела,
кружится, бьётся вольных чаек стая.
А проволока остров оплела,
железом
прямо в сердце прорастая...

О сборище проклятых палачей!
Глаза вы мне закрыли не напрасно:
вы испугались
огненных очей –
двух солнц моих, от ненависти красных!

По ним стекает снова боль и кровь,
на них повязка смертника упала,
но слышу сердце собственное вновь,
как музыку «Интернационала»!

Нет, глаз моих бесстрашных не закрыть!
Двум жарким солнцам на краю планеты,
им, даже мёртвым,
яростно светить
и отражать грядущие рассветы!

Велебитская легенда

Вы были в лесах Велебита?
Там феи гайдукам гадали.
Прекрасные предсказанья
судьбы или исцеленья...
Потом появились матросы.
От бурь, от подводных рифов
их феи заговорили.
«Вы – сёстры нежные наши, –
сказали феям матросы. –
Вы сёстры, мы – побратимы».
Гайдуки любили горы,
матросы любили море,
а феи (а что им, феям?)
любили горы, и море, и побратимов.
Однажды, о как однажды
венки заплетали феи,
плясали под звуки флейты
и пчёл в небеса пускали!
Потом они остановились...
Ведь Велебит – вершина:
внизу – валуны и волны.
Сверкали светлые сабли,
и камни краснели кровью.
Воскликнули:
«О, гайдуки!»
Воскликнули:
«О, матросы!»
О, почему получилось,
что брат убивает брата?
За что? Ни за что! Не знаем!»

А там, на камнях кровавых,
все были уже убиты.
Пропали все побратимы.
Заплакали феи
и в море бросили флейты.
И сами бросились в море.

Вы были у Велебита?
Там мраморные утёсы.

Ни ветры над ними не вьются,
ни рыба под ними не блещет,
и чайки боятся к утёсам
пёрышком прикоснуться.

Утёсы так одиноки,
не оживут.
Лишь стонут они:
«Что было?
Были ли побратимы?
Флейты, венки и пчёлы?
Была ли любовь?
Была ли?»»

Мраморные моряки

Моряки превратились в мрамор
и стоят у солёного моря.

Мраморные моряки
стоят на слепых скалах,
ждут февральского ветра,
чтобы он белым снегом, белым снегом
залепил их чёрные раны.

Мраморные моряки
стоят на сухих скалах,
им уже не увидеть сверху
ни травинки.

И прицельная пуля
не ищет их головы
и не найдёт.
Вьются над ними чайки
и на плечах засыпают.

* * *

Солнце льёт лучи раскалённые.
На камнях ликует злодейство.
В голый остров ярости громом
врезано страшное действо.

День задушен палящим зноем.
По щебёнке босых нас гонят.
Четверо узников, жажды огонь,
две палки, котёл с водою...

Бег по острому щебню... палок удары:
«Несите котёл... Живее несите!
Чтоб ни капли не пролилось, не пропало даром...
За каждую каплю воды – капля вашей крови, учтите!»

Ташим. Подъём в гору. Дрожат все кости.
Палка пилит плечо... Пополам меня рассекает.
Каждый сустав болью исколот, исхлёстан.
Плещет в котле вода – как тут не расплескать.
На каменных остриях ступни искромсаны болью.
Капли пролитые врезаны кровоподтёками
в рёбра и голени.

Плечи словно обрублены.
Солнце всё пламенеет.
Торчит хребет, жаждой обугленный.
Вспыхнула сеть колючей проволоки и камней.

Жажда в костях вопиет: воды!
Лопаются жилы перетянутой тетивой.
Перед глазами искр снопы...
Удар – в ответ остановке любой.

Тяжесть эта – тяжелее, чем весь век:
пилит, разрывает, в три погибели гнёт...
На подъёме удары, крики: «Вперёд!..»
Смерть командует: «Живо!.. Быстрее!»

Где свободы зов недопетый?
Где возвращённая в борьбе и огне
идиллия юных лет?

Ныне крылья твои опалённые
проволоккой скручены,
палками переломаны...

Даже море от боли рассудок теряет,
слушая крики людей избиваемых.
Словно из змей, безумье бичи сплело.
Вот узник-скелет повалился на камень,
и тут же его – сапогом в лоб,
и стоголосый вопль: «А-ааа!..»

Даже в поту горячки, в пламени тифа,
в дрожи агонии жажда не гаснет.
Всё предо мною меркнет... и всё горит.
Я ничего другого не могу пожелать –
эта ноша сломила меня:
отдал бы голову
за каплю воды...

Небо зажглось. Трепещет жар.
Дни идут... Не проходит жажда.
В груди у меня – боль и пожар.
Дни идут, а пылающий кратер
Даже смерть не погасит.

Дни идут...

Здесь от жажды гибнут и змеи.
«Воды!.. Воды, дайте воды!..» –
стонут узники, цепenea.
Колонна растягивается.
Колонна сворачивается
кольцами каторги. И снова вопль: «А-ааа!..» –
один у другого пьёт кровь...
Дыхание пресекается.
Море крик бороздит.
Замахнулся палач – в голове мрак чадит.

Не могу, не могу я выдержать это насилие...
Кричу: «Страх задушил ваш разум и стыд!»
«Ах, бунтовать... банда бунтует!
Бросить его в пучину... в водоворот!..
в бездну... на дно... чтоб заткнул свой рот!..
чтоб замолчал!..» –
бесстыдно вопят истязатели под взмахи бича.

Здесь всё зло вселенной с нами.
Система безумия ломит
и перемальвает скелеты с поникшими головами
на жаждущем камне
над бездонным омутом.

Когда доломают и добьют одних,
приплывёт «Пунат» – новая смена,
под жгущим солнцем,
в кровоподтёках и ранах.
«Чтоб всё было в порядке...» –
свежей кровью истекает арена.

Всюду раны, неизлечимые раны.
Скошены мы, как цветы безымянные.
Мы – те, кто шёл с поднятыми парусами
по валам смелости в вековом океане.

Ликуют, ликуют карающие дубины.
Брошены скелеты на дно презренья,
чтоб они перед пьедесталом убийц
падали на колени.

День безумием окровавлен –
топчет лица товарищей мёртвых.
И все поют, поют в хоре.
Всё отчаянней гладиаторская игра,
всё больше криков и костей – в море.

Со всех сторон окружает ужас.
Кому есть дело до нашей судьбы?
Что говорят наши надежды
и дальние, бессмертные маяки?

Море бурлит лихорадочными волнами.
Гаснет фитиль солнечного луча.
Разгорается страсть палача.
Скрежещут диких инстинктов стальные клыки.
Оковы куют кровопийцы.
Из бездны вопит преступление:
«Убей!.. Ну, убей же!.. Убей его!..»

Жаждающие скелеты вздымает волна.
Простёрты над мраморным берегом
кровавые руки дня.

Бойкот

Запрещено мне небо,
запрещено мне солнце,
запрещено мне слово,
запрещено мне зреньё...

Темень
моё атакует зреньё,
грозит:
вместе с сердцем
погаснет оно!
Запрещено мне
с живыми общенье,
думать о мёртвых –
запрещено.

Камень колючий
так тягостно давит,
он навалился
на юные крылья –
их, перебитые,
кто мне расправит?
Тщетные
трачу на это усилья.

Мне на родные
подняться бы горы,
тучи раздвинуть,
взмывая, как прежде,
чтоб под крылом
засияли просторы –
песне открыты,
открыты надежде!

Горы нужны мне –
не остров угрюмый,
где обнажившийся камень,
ощерен,
в страхе и злобе
таит свои думы,
борется с жизнью,
кровав и пещерен.

Злобному вою
не верю морскому:
вот он
под чёрной гремит цитаделью –
там, где набросить
на шею живому
жаждут
могильных камней ожерелье...

«Пунат» – пиратский корабль

Скрыт корабль под тёмной скалой,
где орлы изнывают от зноя.
Где изломы зубчатых скал
притаившихся змей боятся.
Стонут волны:
«В пещере этой
зло и ненависть прочно слиты...»

Только ветер когтями рвать
станет воду, корабль пиратов
выскользает из тьмы глубокой
грота, выщербленного ветрами,
чтоб настигнуть врасплох добычу.
Порожденье зла и железа,
как пантера, одним прыжком
перепрыгивает через рифы.
Стонет камень, скользя под днищем,
стонут чайки и стонут волны.

Увидав пиратов с ножами,
даже солнце в полночь заплачет:
«Не увидеть матери сына,
в плен захваченного пиратом,
кровь убитых, живущих слёзы
быстро смоеет волна морская...»
Ждет корабль в Велебитских пещерах,
порожденье коварства и злобы,
да такой, что сохнут деревья.
Любят ночь эти хищники мрака.

Но лишь солнце лучи преломит,
гайдуки крадутся к пещере
в жажде мести,
чтоб когти спалить скорее
этой страшной пантере смерти,
утопить её в гневном море,
словно глыбу обрушить в волны.

«Пунат»

Мрачная утроба корабля
связанными людьми полна;
тонет во тьме придушенный вопль;
бездна голодного моря воет
остервенелым раненым волком,
брошенным в яму...
Никто не знает, куда
этот корабль плывёт
сквозь ночи кровавый дёготь.

Вечным прощаньем минуты звенят;
срослись угрозы и стоны,
под палками кости хрустят.

Никто не видит,
как ночь небо сковала:
в нём вместо звёзд
блещут ножи над чревом озноба.

Умер звёздный свет в эту ночь.
Стонет корабль,
полный рабов и крови,
вода ему заливает горло.

Сатанинский ветер
завывает над бездной.
Мы не знаем ещё, что утром
о камень нас разобьёт он,
где утешенья нет
даже змее,
ядом проклятой.

В утробу судна обрушился ад,
так вслед лавине
рушатся скальные стены.
В чёрной пучине стон корабля
глодает ночь –
самая чёрная из гиен.

Эта пучина
никогда не бывает сыта;

завтра слёзы вытекших глаз
и кровь пробитых сердец
в бездонной тьме прочитает
изуродованная заря.

Ждём не дождёмся дня.
Никто не знает, что утром
нас на аркане потащат
из ямы трюма и моря,
расчленият нас и оскелетят
спиральным строем,
всю тяжесть вечного мрамора
бросят на нас...

* * *

Меня убьют в темноте
убийцы в чёрных очках.
Черны всегда палачи.
Им страшен крови огонь
и очи крови страшны.
Меня убьют в темноте,
но память моя не умрёт –
моим палачам на страх.
Я их оставлю с моей
кровью

наедине...

Ночью меня убьют
и чёрные руки свои
по локоть в моей крови
они темнотой обовьют.

Мне снилась зелёная ветка

Бросьте меня
с этого камня отчаянья
на зелёные стрелы прутьев.
Сейчас весна,
а я давно не видел листьев,
не шагал по травам.
Мой след на этом камне
кровь орошала...
Днём глаза мои сухи.
Слёзы мои не станут
зеркалом врагу!

Слеза упала в ночь –
мне снилась зелёная ветка.

Ночь

На каменных иглах солнце,
как сердце чьё-то, завяло,
и ночь на поверхность моря
тяжёлой луной упало.

Ночь, как смола густая,
корабль заливает и душит.
Секунды каплями крови
стучат человечеству в уши.

А ночь огни погасила
и в груды сгоняет тучи –
и ужас растёт среди ночи,
словно терновник колючий.

Но камни молчать не могут
под гнётом вечного страха.
И глухо вздыхает море
в тяжёлых оковах мрака.

Ночь от себя отвернулась.
Она – как туннель к арене,
где умрёт гладиатор,
утонет в кровавой пене.

А смерть свою косу точит.
Ждут жертвы петля и плаха.
Но молнии гневно хлещут
из глаз, не знающих страха.

Выкапываю камень

Сгущается ночь.
Я должен ногтями выкапывать камни.
Нет сил – но ничья не поможет рука мне,
удел мой крошить эти камни, толочь.
Колючка, железные лозы.
Угрозы врага...
Где молот возьмёшь?
Вырывает мне зубы цинга.
Колет копьями ночь – быть беде.
Ночь крадётся, как злая волчица,
тащит мёртвых к воде,
чтоб заре не считать, не трудиться.
Ноги узников – только сплетение вен.
А у камня как будто бы выросли корни,
и за землю он держится крепче, упорней.
Веет смертью от лагерных стен.
Носят камни скелеты. Невмочь...
Воздвигают кому-то дворцы
эти слабые тени.
И бинтует им раны лишь чёрная ночь,
холод камня
да ржавый металл ограждений...

Сквозь пламя

Костры горят в два ряда.
Из мрака обледенелого,
из нор нас гонят сюда.
Не видеть нам света белого!
Лишь взгляды:
«Что это, друг?»
Но только затворы лязгают.
Кисти синюшных рук
кровавой веревкой связаны.

Пламя! Жалящий рой
искр...

Идёт инквизиция!
Веревку тянут сквозь строй,
огонь выжигает лица нам.
Пламя гасит глаза.
Кровь на огне замешена.
Так вот она, эта гроза,
что вами была обещана!
Хотите спалить любовь,
волю, мечту соколиную?
Ненависть, ярость, боль –
с пеплом смешать и глиною?!Хотите сжечь на кострах
крылья, что к солнцу направлены?
Гонит вас, гонит страх,
словно волков затравленных!

Ваши руки в крови,
они дробили нам челюсти.
Умрём – но во имя любви,
а вы умрёте от ненависти!
Сквозь горло смерти и – в ров,
градом засыпьте каменным.
И всё-таки наша кровь
пламенней вашего пламени!

Пусть нас никто не спасёт.
Мы умирали – не плакали.
Боль наша, кровь и пот
прожгут вашу тьму, как факелы!

Память лимонных деревьев

В ужасе утро встаёт здесь в тумане,
волны под тучей бегут, горькой пеной одеты,
стонут здесь вечера́ под гнётом невзгоды,
узников свозят сюда для мучений, –
верных сынов Октября и героев Испании,
Сутески храбрых детей, знаменосцев Свободы,
тех, кто в борьбе никаких не боится преград.
Узники здесь, живые скелеты,
голые, в кровь раздирая колени,
камни камнями на камне дробят.

В прах рассыпаются груды камней,
раны и язвы подёрнуты коркой кровавой.
Это в обычае палачей:
с крыши проклятых бараков стекают
струи декабрьских дождей, леденя, –
льются на темя людей,
чтобы и мозг их льдом становился,
больше сгибалась иссохшая шея.
Словно увядшая ветвь, руки на щебне.
Это не смерть и не мука,
это что-то ещё страшнее.
Это неугасимая гордость стонет,
кровью омытая и дождём.

Камень скелеты дробят, кровенят ладони.
Это пир палача и бешеной бури.
Мелют рабы самих себя, испуская стоны,
башни смерти строят они,
в щебень сажают лимонные деревца.
В рост должны идти они, политы кровью,
вырасти стройными и прямыми.
К голеним их, если надо, привяжут...
Кровь потекла и всё больше течёт.
Солнце лучами играет в луже кровавой.
Небо само здесь могло бы ослепнуть –
от сердца во льду, от боли, что длится.
Но солнце рождается, чтобы умыться
в юного утра озёрах,
чтобы лучами пить росы и запахи бора,
а не кровавый узников пот.

Чёрных приспешников зла выслала ночь,
с очами змеи прислужников смерти,
чтобы несчастным снести головы прочь...
Чёрной ночи мехá крик разрывает,
боль заморозила стоны.
Здесь, на мраморном берегу,
немы люди в тоске исступлённой.
Кровь от работы плетей на земле, на воде,
пятна кровавые всюду видны.
Кровь. Кровь везде.
Ею все камни обагрены,
крики окрашены кровью.

Не для того рождали матери нас,
чтоб в черепах наших рыбы гнездились.
Мать растила меня
в солнечных долах, у этой зелёной горы
не для того, чтобы свет моих глаз
здесь на дне моря погас.
Мысль даже в смерти стремится к паренью,
в ранах сердце моё,
а раны вызывают к отмщенью.
В дни, когда крылья расправит заря,
чтобы стереть эту ночь преступлений,
чёрную ночь предательств, тогда
мощной рукою Свобода порвёт эти звенья,
ржавую проволоку насилий,
и пришельцы-борцы увидят эти строенья,
ров, где тела коммунистов зарыли.
Тень стройных башен, деревьев лимонных
ляжет на лоб их холодом яда зловонным,
белый мрамор будет точить
слёзы из глаз, которых уж нет,
глаз, что когда-то видели свет,
а теперь только ждут, чтоб поднялись мечи.
Мрамор для этих дворцов величавых, высоких
в зной на носилках сюда подавали,
были носилки орудием пыток жестоких,
люди хребты здесь и ноги ломали.

Солнце напрасно листвою деревьев играет,
ветер напрасно листву их полощет –
рук окровавленных не забывают
свежие эти лимонные рощи!

Трагач

Несут на носилках
отрубленную голову
Отчизны моей.
Сбросят её
в голубые глубины
вместе с грудой камней.

Чтоб сестра над могилой
не расплела косу,
чтоб мать, угасая,
не звала сыновей –
на носилках несут
отрубленную голову
Отчизны моей...

* * *

(снова о трагаче)

Знала бы эта ель,
что из неё сделают каторжные носилки,
она бы исторгла себя из семени,
она бы исторгла себя из корня
и полетела за облаком;
она бы забыла имя своё –
всё бы она забыла,
осталась бы в облачной вышине,
лишь бы её не коснулась
рука, алчущая крови,
и не превратила
в орудие преступления.

Обращение Велебита к Ядрану

О Ядран, море синее,
островами ты усеяно,
где слышны стенанья узников...

Было ты мне зеркалом,
чтобы мог гордиться я
чистым отражением.
Но теперь нет сил уже
мне в глаза себе глядеть,
любоваться не могу теперь
я на самого себя.
Кровью мой запятнан лик,
отражённый в синеве твоей.
А подводный корень мой –
каменистое подножие –
ужасом оковано,
каменные трещины
костями заполнены,
опустели гребни скал,
и всё чаще там кружат вóроны.

Стала непроглядной ночь
и закрыла тьмой лицо моё.
Из твоих отяжелевших вод,
словно сталь непробиваемых,
не мог и днём я вытянуть
себя запятнанного,
изуродованного.
Ведь моею тенью под вóлнами
покрываешь ты кости мучеников.
Прободали эти кости тень мою,
звон цепей на островах мне слышится.
Как бы мог свою тенью я
эти кости уберечь, спасти, –
мучиться в глубинах вод
суждено веками им.

Утро уж меня не радует,
утро белое,
и твоей лазурью
не умыть уж мне лицо своё.

Гладь твоя лазурная
кровью обагрилась вся;
этой кровью грудь моя прогрызена,
дрожью ужаса вошла она
в каждую из пор моих.

Как же вырвать мне боль мучеников,
чтоб зажгла она ущелья льдистые,
чтобы травами целебными
раны сердца успокоило?

Посинело утро светлое,
очи каменные затемнило мне,
чтоб лишить меня в тумане зрения...

О, море, море,
честь свою навеки ты утратило,
от стыда тебе бы впору высохнуть!
И меня опустошило ты,
занесло все леса мои
ты колючим буреломом зла,
в соколиных гнёздах поселило
змей.

В твои воды брошусь я,
о Ядран, море страшное,
чтобы раздавить собой клубки змеиные,
потопить сучки колючие.
Если бы мне только выплеснуть
так тебя, чтоб мой хребет
стал мостом надёжным,
по которому
мог хотя бы один мученик,
хоть один свидетель прошлого,
выйти из пучины на́ берег,
чтобы людям рассказать о том,
сколько было душ погублено
и где были острова твои...

О Ядран, о море страшное,
ты моим когда-то было зеркалом,
а теперь запятнано
черепами скалистых островов своих,
ставших островами
вечного мучения.

* * *

Я задушен безмерной болью.
Как дозваться желанного бунта?
Разбили мне лиру на острове голом –
сапогами порваны струны.

Чёрное солнце в глазах горит –
чёрной тоской вместо ясной зари.

А я-то мечтал о людском братстве...
Сквозь строй влачится колонна скелетов.
Палка в костях пробуждает рабство.
Подшвы по щебню. Шторм – эхо в ответ.

Здесь убиты надежды, творящие солнце, всё уничтожено.
Солнце вдребезги – каплями крови.
К ногам утомлённых извергов кости прибоем брошены.
От рук палачей остервенело и море.

На самородном камне, не знающем слёз,
боль вырастает до звёзд.

Море забыло о парусах рыбаков.
Чёрное солнце в глазах – ледяными брызгами.
Необозримые ожерелья из черепов
на голый остров морем нанизаны.

* * *

В этой чёрной ночи поруганной
не видно ни зги, ни перста,
а мы все в крови, как будто
нас только что
сняли с креста.

Мы носим убитых –
чтоб в море топить их.

Мёртвые на камне простёрты.
Конвоиры командуют:
«Всем примотать проволокой
на шею тяжёлые камни...»
На камне мёртвые
покорно простёрты.

Впивается колючая проволока
в затылки бескровные.
Убитые тонут.
В гневе море,
прежде спокойное:
воет и воет над обречёнными.

Пучина рыдает в ночи:
никогда больше день не придёт,
только море из этих ран
тернии извлечёт.

Ночь окутала трауром
своё лицо очернённое.
Не видно ни зги, ни перста.

* * *

Щербатыми каменистыми гребнями
обуздено море;
ему никогда не выскочить
из котла,
на дне которого
кости в цепях.

Цепи тащат море в глубины.
У моря камень на шее.

Напрасно ворчит Велебит
и Учка-гора тянет голову ввысь;
их боль достигает неба –
но им не увидеть своих детей,
дети на дне котла –
их не найти
и всем звёздам вместе...

Содрогается море – гневом
дно пробивает своё;
оно бы так убежать хотело
от этих страшных цепей,
извивающихся змеёй.

Людам на острове этом ломали голени,
чтоб их сердце само от себя отсеклось.
В объятьях ржавых цепей мёртвые переломы
ревниво хранимы на дне рокочущим морем.

Над Велебитом неба ясного не бывает;
в ущельях его нет ни единого волка,
и только чайки подножье горы отравляют,
хищно слетаясь на безрукие торсы,
провожают их, полуобглоданные, в глубины моря.

В этом море,
жаждущем крови,
вспучился мрамором остров слепой;
только чайки над ним сбиваются в стаи,
ощетинившись клювами –
ненасытными шильями,

и всё крепче стянуты цепи на дне морском,
чтоб мёртвые руки, соединясь,
не опрокинули в бездну
слепое страшилище...

Руки на дне связаны,
разверзнуть пучину не властны они,
им себя не освободить
от преступной
алчной воды.

Вялым траурным крепом
над островом вьются чайки,
остров не вырвется
из этих убийственных вод.
Мёртвые помнят своих палачей –
не расстанутся с палачами.

Тени убитых не могут взвиться новыми жизнями.
Голый остров – самый жуткий кошмар
Адриатики
и моей отчизны.

* * *

Горизонт затмился.
Я один-одинёшенек.
Одиночество свернулось змеёй,
чтобы сковать шаги мои.

Моё сердце не признаёт одиночества,
шаги не знают границ.
Если кто-то не видит моих крыльев,
это меня и во мгле не волнует ничуть.

Я эти крылья чувствую
и надеюсь на них.
И однажды я прилечу на все свои берега,
где меня ждали когда-то
желания и друзья...

Долечу до того утёса,
где запомнил первую песню
и где мать молилась горам о моём здоровье.

Живой или мёртвый,
я вернусь победителем.

Скажут пещеры и голые скалы,
почему они спасали меня
в дни, когда страх промораживал корни
столетних деревьев,
когда за колючей проволокой синью вставала заря,
когда ненависть людская
была страшней,
чем змеиный яд
на исходе жаркого лета.

Между мною и теми днями –
ржавая колючая проволока.
Между мною и теми днями –
ростки прутьев у караульной вышки.

Между мною и теми днями
ещё пылают
костры тоски.

Зов скелета с оторванной рукой из теснины голого острова

Приди...
Склонись над этой тесниной,
ты, сославший меня сюда,
на эту солью изъеденную,
одинокую,
изнурённую жаждой скалу.

Ты управлял
механизмом,
который вырвал меня
и швырнул
на мраморные клинки,
под голодные клювы.

Приди, я тебя обниму,
вокруг шеи твоей обовьюсь —
здесь, где даже паук
не ползёт по остову моему.

Здесь,
в этом диком ущелье,
жизни нет
даже для жёлтого муравья.

Сперва от меня
закрыли солнце и горы
и оплели меня цепью,
чтоб даже воспоминаньем
не мог улететь
к очагу родному,
к слезам моей матери...

Гневный орёл ветра
вздымает метель гнева
над мёртвой водой.
Верни мне руку оторванную...

Отняли у меня даже каплю воды,
вырвали хлеб из рук,
отняли нивы возделанные —

расклёвано семя,
томятся пустые,
растрескавшиеся борозды.

Отобрали.
Отняли всё.
Выхватили из ладоней
мечту о надежде,
ещё не рождённой.

Приди, я тебя обниму,
и ты увидишь,
куда занесло меня
твоё великодушие –
сюда,
куда не впадает ни капли неба,
водворил ты меня,
держа перед миром
ветвь оливковую,
а надо мной –
топор.

Приди,
посмотри,
куда бросили
руку оторванную –
ту, что очередями и бомбами
проложила тебе дорогу
туда, где теперь ты
размахиваешь
своим жезлом
маршальским.

Я возвёл тебя на престол,
а ты отшвырнул меня,
бросил в хищную ямину,
на просолённый мрамор,
где даже змея ядовитая
не протянет и дня.

Мать ждёт,
когда я ей перекрою крышу –
дом протекает;
ждёт этих рук
заброшенная земля.

А ты загнал меня
в каменную щель,
куда даже ящерица
не заползает –
только клубятся тени
палачей,
исполнителей твоих повелений.

Приди!
Я тебе повешу орден –
ветры затянут на твоём горле
петлю,
что ты мне сплёл:
она только и ждёт
твоей головы!

Ощетинились камни.
Стонут буруны,
вопят чайки.
Приди же, «фиалка белая»,
на этот проклятый мрамор,
костями усеянный.

Морщины камня

Камень изрезан, как кора мозга,
в его морщины вливается небо.
Из памяти каменных складок
допотопные выходят олени.

Память камня
идёт в поход –
ей тесен простор небесный.
Перед памятью камня
мир умолкает.

Стучусь в пятна каменных трещин –
канонада меня оглушает.
Стучусь...
мне отвечает кладезь
огня, наводнений,
мне отвечает
безмолвие трав
и рыдание грома
над океаном.

В морщине камня,
возле семечка травы
я нашёл нерасплавленную
крупницу пороха,
челу моему предназначенную.

Застывшая память камня
рукой всех времён
раскрывает свой эпос,
раскрывает весь веер
солнца бессчётных кругов.

В холодное око морщины камня,
как в первоисток жизни,
пала звезда погасшая.

Прикасаюсь к камню, перевитому венами,
как кора мозга,
и созревают во мне
колосья всех времён.

Яма 101

Остров каменной челюстью врезан в морские равнины.
Мраморный берег нещадное солнце сжигает,
и до глубинной его сердцевины
ветер веков каменистую грудь разъедает.

Резче на солнце резьбы выступают уступы,
голым торчит он из волн остриём одиноко.
С камнем, в сплетении проволок, трупы
здесь палачи опускали в пучину глубоко.

Остров проклятый и молния не озаряла,
грома салютов не слышит он в буре весенней,
словно его отравило змеи смертоносное жало,
клювы стервятников рвут и уносят обломки крушений.

Змей притаившийся, взгляда он с моря не сводит,
неутомимый в жестокости, злобно-лукавый.
Песне, всегда окрыленной, и нашей свободе
пугалом был он, грозил нам петлёю кровавой.

Дню без надежды и ночи, утратившей звёзды,
был он как свежая, вечно открытая рана.
Он лишь для смерти свивал свои подлые гнёзда
здесь, на лазурном, зеркальном просторе Ядрана.

Утро проснулось. Заря расплескалась узором,
солнце рассыпало перья горячих воскрылий,
только над ямою смерти всё кружится ворон.
Нет уже слёз, чтобы наши глаза оросили.

За ночь одну покрывает здесь волосы иней.
И самому палачу не хватает дыханья.
Яма страданий здесь глубже пучины холодной и синей.
Кажется пролитой кровью закатов пыланье.

Ночь в кровавой рубашке приходит к рассвету и стонет.
Ужас яму копал в этом гибельном месте.
День окровавленный череп приподнял здесь на ладони.
Скоро ли высечет камень искры и гнева, и мести?

Время чёрную повесть напишет о горе недавнем,
и через скалы пройдёт она, всех потрясая.
Кости погибших ответят тогда из-под камня:
– Звёзды всегда умирают – сияя!

* * *

Мало того, что я в кандалах,
мало того, что я опоясан
ледяными высокими стенами,
а в них не видно ворот,
которые хоть когда-нибудь
могут открыться...

Я – в яме,
самой большой и глубокой,
над ней вся ширь неба,
а у меня перспектива одна:
сгнить в одиночестве,
истлеть безгласно
и без поминовения.

Напрасно я озираюсь –
нет у ямы
ни востока, ни запада,
в неё падают беспрестанно
и безвозвратно.

Дно заминировано
ощетиненным страхом.
Даже небо над ямой
расчерчено на квадраты.

В этой яме
гаснут все тайны,
больше их никто никогда
не увидит.

Глаза у ямы
слепые, голодные, даже
солнце в ней
может погибнуть
и навсегда погаснуть.

Я не на лезвии скал,
я – в яме
немого, глубокого
увяданья.

Здесь бессмысленны
мечты о звёздах,
бессмысленны
мольбы о надежде.

Гнию в яме,
меня завалили обломки
разрушенных идеалов,
засыпал остывший пепел
знамён, сгоревших дотла.

Я больше не слышу
гóлоса собственной боли –
на квадраты разбитое небо
погружается в сон,
в сон...

Здесь не слышно
даже хруста моих костей
в шестернях времени.
Не видно ни зги:
вокруг ни чёрно́, ни бело́ –
только горит
мой пробитый лоб...

Земля онемела,
мысль давно отпылала в огне,
от неё уже и дыма-то нет.

Я тебя знаю, время,
ты ещё не сломало челюсти,
зубы не затупило –
гложешь невинные жертвы.

Эта яма
людскими сердцами питается.
Выбраться – нечего и пытаться.
Я окружён.
Я на мушку взят
всеми силами ада.

В камне вижу бутоны огня,
провал в бездну горя –
на чёрном дне молчаньем меня
умóрят.

* * *

Что ты делаешь, земля?
Успокойся, земля!
Не исторгай кости предков
из недр своих.
Мои предки кровью тебя оросили,
костьми твои раны вымостили,
гавани укрепили.

Сколько раз они тебя защищали!
Сто раз бы тебя
расклевали чёрные стаи,
если бы не они.

Не выбрасывай кости
немые, смиренные –
они пронесли твоё имя
по миру и времени.

Слушай мой вопль!
Ты всё помнишь!
Всё видишь!
Камни твои не слепы –
глядят на меня суровые голые скалы
узлами кремня.

* * *

Только мы думали тронуться в путь –
налетел кровожадный ветер.
Упал продырявленный череп луны
на измождённые кости.

Сломались даже палки-убийцы
о наши мослы переломанные.
Напрасно солнце взошло – оно
не посмеет поднять нас,
день нас не примет
в свои объятья.

Я возмужал для любви, кончилось детство –
и брошен на камни,
где день за днём
прорастает и колосится злодейство.

Разбиваются о скалу
волны сгорбленные,
разбивается небо,
хмурое, скорбное...

Ночь хватает пальцами мокрыми
колючую проволоку.
Алчные трещины острова
захлёбываются от крови.

* * *

Камень ослеп
на краю моря.
Он не увидит солнца,
летописей не увидит.

Только в моей памяти
есть у камня глаза –
он смотрит
кровью моей невинной...

Страшный камень
на грани ночи,
на грани рассвета.

Камень слепой
на закате совести человеческой.

На этом камне
мечта о братстве людей
догорела.

На камне нет
даже тоскующей
птицы бездомной.

Стянут льдом погасший зрачок
под пеплом
солнца простреленного,
дотла
спалённого.

* * *

Каждое утро
я удивлялся на том берегу,
как жив до сих пор.
Утро переходило в боль,
удивленье – в тоску привычную –
знал я, что день
по камням меня разбросает –
так волчица голодная
терзает свою добычу.

Ночь была тяжелей, чем мраморная плита, –
проклятая чёрная ночь.
На ледяном бетоне, там,
за натянутым одеялом
следствие начиналось:
мрак густой уносил меня
прочь от других скелетов
коллективного зверинца этого.

Утро валилось на окровавленный щебень.
Я едва дышал и не мог стоять.
Как от горя день не ослепнет,
глядя на раны мои, –
было мне не понять.

Тот, кто будет искать на том берегу
зелёную ветку –
найдёт стальные шипы.
Они врезались в раны надолго.

Кто на далёком рассвете
будет раковины искать –
найдёт
черепов осколки.

* * *

Вынырнули журавли
из черноты облаков,
скорбные, как изгнанники,
чёрные.
Перед их клином
необозрим дальний путь.
Небесная колонна отбрасывает тень
на ледяную землю вечного страха –
тень,
похожую на цепь,
судорожно разорванную...

Кричат журавли, ободряют себя:
не уставать!
В голосе плач
о братьях погибших,
чьи лица
уже в поднебесье стёрты...

Летят журавли над горизонтом,
где пересохли реки,
летят, чтоб не свила в них гнездо
тоска и печаль
забытого одиночества.

Летят,
и провожает их взгляд
далёкой равнины,
летят они, чтобы крылья
не потеряли имя...

Жажда

Ты проступаешь потом
сушишь губы,
рот наполняешь горечью
и жжёшь.

Я забываю голод
и удар под рёбра
и только стоном говорю:
«Воды...»

Огонь в мозгу
воспоминанья выжжет.
Нет памяти.
И кровь моя
горит.

И облака коробятся,
ржавея по краям.
И кости просят:
воды!

В глазах темно.
Нет больше острой боли.
И мозг костей
покрыла коркой
соль.

И стрелами
расплавленное солнце
пронзает всё живое.
Жар!

Седое небо пахнет пеплом
обугленных деревьев,
превращаясь
в солёную пустыню.

На голых лбах
расколотых камней
журчит вода, которой
не испить.

В мои глаза
из голых трещин змеи
глядят, и злое солнце угли
бросает им
в оскаленные рты.

Я превращён в скелет.
Я принуждён
дробить камня камнем.
Всё боится камня.
И волны моря повторяют:
смерть!

Не приближайся, солнце,
не слепи мои глаза.
Тебя убьют расколотые
камни.

А солнце точит
огненные зубы,
врезаясь в плоть расколотых
камней.

Расплавленное солнце, и земля,
сгоревшая, и ржавая колючка,
и вопль
скелета в каменной могиле,
который жажда заперла на этом
седом и голом острове.

Голод

Стервенеет безумие, ветер дичает.
Камнедробилкой мешок с костями измолот.
Вся глубинная суть жёлчь свою изливает,
воцаряется кровопийца-голод.

Ищет меня в бараке, на зубьях каменных,
чёрной ночью мой сон обвивает,
последнюю искру из души выбивает
кровопийца-голод дробью отчаянья.

То затаится, то навалится: наступает,
ледяным буравом кости сверлит.
Уводит полуслепое меня на край смерти –
к воде, которой нет, пригибает.

Кровопийца-голод повсюду бродит.
Упорно и тупо нам ломает бока.
До смерти осталось недолго вроде –
чуть подождать, всего-то два-три шага.

Острые камни – клинки лютые –
отточены ветром. Мы ими проколоты.
Проглочен даже румянец утра
ненасытным кровопийцей-голодом.

* * *

Может, история правда по кругу вертится
и во всём есть частица ужаса праисконного...
И всё-таки голый остров – страшнее смерти,
участи гладиаторов и безумия фараонов.

Здесь поругано всё. Заговоры провалились.
Трупы гниют в морских пучинах бездонных.
А кто ещё жив, рады, что облачились
в окровавленные рубахи покойников.

Одни дробят и глотают стекло горстями,
другие крадут плевки, кровавой добыче рады.
Счастлив тот, кого смерть спасёт от страданий,
исторгнув из чрева самого страшного ада.

* * *

Время жути – было ли хуже?
Ржавой тучей нависла ненависть.
Разверзается пропасть смерти
в вихре декабрьской стужи.

Здесь в цепях угасает юность.
В крови – отчаянья свист.
Здесь чёрные здравицы пьются
под бури яростный визг.

Чёрный корабль бьётся в тоске
в гавани, как в могиле.
Палка вибрирует у палача в руке
на линии срыва в гибель.

Крик

Стефану Митровичу

Голый остров запёкся от крови, солнце померкло
от застывшего мрамором страха смертного.
Жёрновом смерти люди и камни размолоты.
Мраморный берег кровью целуют волны.

Нарастает туман, тяжелеет лёд Велебита.
Адом дышит моря гнев необузданный.
Бешенство вьюги и предсмертные крики –
здесь сливается всё в мелодию ужаса.

Преступленьем исписаны здесь все списки.
Лютой злобой загублены судьбы.
В небо врезан
последний крик коммуниста:
«Страшный суд! –
Человек в руках УДБы!»

У врат ада

Через бездну плывёт «Пунат» – чёрный корабль.
Нашей болью и кровоподтёками проложена трасса в ад.
Под Велебитом сатанинские бури рычат.
Счастлив тот, кто от них ускользнул. С палубы
с яростным криком взлетают чайки кровавые.
У Сеньских ворот открыта дорога в ад.

В карту страны новым именем врос
на горизонте чернеющий дьявольский остров.

Там, над пустынным пристанищем чаек, бакланов, орлов,
вьются тучи, как чёрные флаги злые.
Тучи помнят: в мраморе выбиты судьбы рабов...
Читайте: вот он – позор тирании!

* * *

Ночь распустила косы
по пепельно-серым плечам Велебита.
На камне этого острова
они запекутся в крови,
окаменеют,
как узники, здесь убитые.

Застыл над водой
мёртвый месяц –
мраморная громада:
он упадёт на мой дом,
на всё, что есть у меня,
на друга и брата.

Будет жаждать земля
капли воды,
корки хлеба.
Но сталактиты страха
везде – от земли до неба.

* * *

Где я?
Вокруг пенится море.
Волны стонут и бьются
о скелеты и камень голый.

Людоедство из камня рычит.
Человек здесь – не человек!
Злодейства удар жесток.
Здесь ты – засохший цветок,
от тебя и комар бежит.

Ветер свиреп, гонит вал за валом.
Одинокие чайки слетаются в стаи.
А на острове изуверы
колёса пыток вращают,
чтоб в детях Интернационала
погасли сердца
и они палачами стали.

* * *

Сквозь бойкот и сквозь криков рой
товарищей он спасает молчаньем.
Гонят его сквозь жажду и посиневший строй,
он, высохший до костей, уже теряет сознание.

Крылья ночи раны скрывают.
Как прекратить эти муки?
Ведь душа-то – ещё живая,
ещё живут его руки.

Думает он: «Всё смоем волной...
Солёное море спрячет меня.
Буду молчать – и в недрах горы крутой
уцелеют мои друзья».

Как от огня, от носилок он отскочил.
Страх нет – пусть охранник вопит.
У души его больше, чем у бойкота, сил.
Наперекор всему он на скале стоит.

Тяжкий камень он поднимает
над бездной морских глубин,
к себе его прижимает,
точно единственного сына.

И, решимостью озарён,
будто птица гордая,
с камнем в объятьях он
с утёса падает в воду.

Из пропасти моря ему никогда не вынырнуть.
Он сросся с тем камнем.
В тайне вечных глубин
камень будет ему охранником.

Камень спас его от бойкота,
от пыток и жажды горькой.
А конвоиры до кровавого пота
гонят опять людей вереницы скорбные.

Слит он с камнем в объятье жгучем.
Укрыли своей тревогой вечные воды
ещё одного замученного
сына непокорной свободы.

Этот живой прыжок
на глазах у строя немого
отразился в зеркале неба и моря грозного.
Слёзы матери снова и снова
ищут сына в горах и в море,
в камне и в звёздах.

* * *

Узники в строю,
от страха оцепенев,
своему убийце поют.
С сердцем оледеневшим, глазами мутными,
боли живые фрески,
колючей проволокой опутанные,
кровь попирают свою.

Под гнётом ненависти головы поникают.
Горизонт заполнен отчаяньем.
В мундире смерть приближается...
Сколько скелетов в строю –
палач рапортует мундиру.

Эта ночь меня ликвидирует.

Ночь рыданий из тёмных глубин,
ночь пролитой крови,
ночь триумфа надсмотрщиков-уголовников.
А в бараке – пирушка старшин.

Последний раз из оцепеневшего строя
на солнце смотрю –
над пучиной
нежноющей позолотой
разливаются краски заката
и последняя капля моей крови.

Вот бы послать через солнце весть домой!
Но оно золотым закатом
от стыда уплывает куда-то,
чтоб не смотреть на скелетов строй.

За тенью дальних островов,
за медной полоской узкой
солнце спряталось.
Отсветом сукровицы покрытое,
в глубину уронило испуганный лик оно,
чтоб не смотреть, как скелеты-узники
славят покорной песней
убийц имени своего и сердца.

Камень растёт от ненависти –
кровь его пропитала.
Птица в небе от ужаса смертного
ледяным камнем стала.

Перед злобой охранников,
под взглядом заката пристыженного
мы, скелеты, застыли.
Замирает дыхание. Гаснут взгляды.
Сколько в строю и сколько
тех, кто не может двигаться,
старшина барака докладывает.

Воздух остервенел..
Мрак подползает по проволоке.
Ночь рыдание топчет,
захлёбывается кровью.
Ненавистью все атомы скованы.
Жаждают крови озверевшие конвоиры.

Эта ночь меня ликвидирует.

Однажды утром в Малой Драге

В этой теснине
всё болит, здесь
в беззаконное время
человек сразу гибнет, либо
теряет честь.

Гром не только с ясного неба
гремит,
но и из камня,
из случайного слова,
если оно кому-то путь преградит.
Если молчишь
на марше или во время работы,
значит: ты – под бойкотом
или ещё не разоблачённый бандит.

Ветер дунет –
серую тучу разгонит...
А ты никому не можешь доверить
скрытую тяжкую мысль:
«Расстанься со всякой надеждой
остаться в живых...»

Здесь каждое слово
расщепляют и рвут:
требуются только сомнение и отчаянье...
Здесь забрасывают крючки
и тяжёлые якоря
в тёмный омут молчания.

Завтрак наспех, потом
общее построение
перед бараками в Драге,
отправка на фронт работ –
зачем-то камень будить,
покорять и в острый щебень дробить.

Осенний день 1950 года,
зябкий, ветренный.
На темени Велебита
туча – сетчатая, кучерявая...

Неожиданно солнце
сдвигает её малость вправо.
Вскипает зарево.

И тут один говорит:
«Будет ясный день –
видите, вон солнце с востока!».
Кто-то, насторожившись,
замер вполоборота, –
другие
с опаской ждут комментариев.

Старшина барака
созвал активистов-ревизирцев
на тайный совет.
Вскоре прибывает и лицо из центра
(центр все приказы удбашской управы
выполняет скорострельно).

Команда из центра:
«Всей колючке
(то есть – всем узникам:
перекованным-перевоспитанным
и прочим, готовым вернуться
“на линию партии”)
построиться для приёма
разоблачённой банды».
Это значит: кого-то
прогонят сквозь строй.
После такой прогулки
редко кто возвращается к матери.
И никто не знает,
кого и за что карают.

Хлещут удары
(кулаками, прутьями, чоботами из резины)
под выкрики «Смерть разрушителям
нашей стабильности!»

«Бейте его все! Все, кто жив! –
взревел Эсад Шабанец. –
Вишь ты, солнце!..
Это призыв
к нашествию Красной Армии!
Бить его, бить!..»

Кто-то растерянно говорит:
«Он рухнул лицом в щебёнку...»
Звучит жёсткий ответ:
«Мало ему, гаду, мало!
Чтоб ему щебёнка
всю морду до костей раскромсала!
А вот всыпать ему!
Чтоб у него глаза повылазили!
Нет никакого солнца с востока
и никогда не будет!
Там, на востоке, все свечи
погашены».

Остался ли он в живых –
никто из нас не узнал.
Выдержал ли «всю колючку»
до конца строя, до дна...

Его избивали,
а он, весь в крови,
брёл, гордо подняв голову,
не считая шагов
и веря:
славная смерть –
погибнуть за Солнце с Востока!

Многие имя его забыли,
а кто запомнил,
тот помянуть не смел.
О, синевой налитое утро!
О, чёрная заря!
Ты видела,
как на четыре части
раскололась его голова!

Лик его
безнадежное время украсит.
Его надежду
на Красную Русь
даже смерть
не погасит.

Он – безымянный –
один из многих убитых
в изломанной Черногории.

Лик России
вечно хранят эти суровые горы.
Хранят завет:
«Не пятнай свою честь!
Не позорь
Солнце с Востока!»

Никакой буре
не смыть кровь
с утёсов острова голого.
Тиранам – услада
убивать невинных:
отца, сына и брата...

Они и на небо злятся,
если оно не мрачно,
не жестоко лицом, как остервенелый кат.
Они бы и перед солнцем
задраили напрочь
створки небесных врат.

В сердцевине века

Воздух дрожит от жара.
Солнцепёк – во всю ширь зной.
Дыхание прерывается –
надо мной
небо пылает пожаром.
Я – под бойкотом. Тащу
носилки с камнями: кара.

Жестокий гонитель загнал меня
в кратер жажды,
выхода нет.
Непокорным раненым зверем
гнев нарастает во мне.
Вперёд!
Шаги мои только смерть оборвёт.

Сёрдца у живодёров нет.
Гонят меня и гонят.
А на носилках
тяжеленные камни навалены –
тяжесть руки из плеч выламывает.

Мне эту гонку не выдержать.
На ходу носилки бросаю,
чтоб камень мне ногу сломал.
Болью хребет прострелен.
Может, последний
мой день настал?
Они бы и позвонки мои
рассыпали, как монисто,
по мраморным щелям рассеяв.

Кости мои превратились
в угли горящие...
Сердце сжимает страх:
угли прожгут мне
вены набрякшие
и почерневшую кожу –
она жива ещё, корчится,
тщась костной ткани
сберечь хоть кусочек.

И вдруг – команда
«Кончай работу!..
Оставить носилки!
Пошёл, банда!» –

Орут надсмотрщики,
злобно щерясь.
День ударом разломлен.
По иссечённому камню
бреду, шатаюсь,
с трудом отдаляясь
от каменоломни...

Что-то застит
солнечный свет –
ждёт меня кровавая взбучка.
Огнепадом
вскипает каждый луч.

Рокочет криком
каторжный плац.
В далёкое детство
память меня бросает.
Тумана нет, но перед глазами мгла..
А ещё страшней –
то, что голод подкрадывается.

Голод ищет, ищет –
нигде никакой пищи.
Везде только древний камень
лик открывает:
любая страница этого дня –
терновник каменный.
Даже герой легенды
лоб разобьёт об это.

Ни ветерка..
Откуда он, запах
горячего хлеба из детства,
который мне мама
на горé под Каштаком
с пылу с жару достала
из раскалённой печи?..
Я и теперь вижу хрустящую корку,
что слаще мёда.

Смотрю вперёд,
а там,
за туманом –
слоистая кладка хлебов,
и всё больше пьянит
упоительный аромат...

Радость меня пронизала
плачем, слезами.
К хлебу руку тяну –
хоть горбушку, да отломлю.
Засветилась бодрость во мне –
точно трава на камне зазеленела,
разбудила надежду
на солнцепёке жестоком.
Но протянутая рука
на кровавом камне
так и осталась пустой.

Издали крики, вопли:
«Сюда, живей, банда!»
Спотыкаясь,
в тоске возвращаюсь к морю.
Опять меня ждёт кара –
носилки с камнями.
И никому не посмею сказать
(бойкот – я лишён голоса),
как исчезали у меня на глазах
сложенные идеально
штабеля караваев.

Оглядываюсь назад
и в удушливой мгле
вижу фигуру огромного роста:
длинные руки,
на пальцах
крючковатые когти...
Отчаянно спешу,
чтоб меня не настигли
эти алчные когти,
не лишили памяти
и того, что привиделось мне.

Никому не шепну,
что я видел...

Бдительные мучители
назвали бы всё это
подлой клеветой.
«Мы, труженики,
раздавим клеветников!
На рабочих площадках
царит порядок
и тёплая материнская забота
славной УДБы...»

Кто-то скажет:
«На всё воля Божья –
такие уж наши судьбы...»
А я знаю:
всё решает
детоубийца – УДБа.

Истреблены невинные люди,
на совести их – ни заговора, ни бунта.
В середине двадцатого века
переломали им рёбра и зубы.

По встопорщившемуся щебню
босоногие легионы
зигзагами гонят сквозь строй.
После бетонных карцеров-ям
и ночных допросов
в тёмных подвалах
люди друг другу рвут глотки,
точно взбесившиеся волки
в зверинце,
откуда выхода нет.

Униженная земля
приветствует криком
свою позорную гибель,
аплодирует ей.
Нет нигде утешенья, нигде – спасенья,
нигде – состраданья.

О, Земля моя!
Неужели ты стала мёртвой планетой?!
Оледенела твоя душа
в глетчерах вечных допросов
и страха чёрного этого.

По мановению и призыву
живодёр-дирижёра,
народы попали, во имя братства,
в иезуитскую
перековку.

Над ними – он,
всех команд командир,
верховный главарь,
пожизненный президент – вне времени,
превыше конституции и мечты,
самозванный маршал,
генеральный секретарь...

В молодости –
бродяга без роду и племени,
потом –
отъявленный душегуб.

Он – над судом и УДБой,
над вечностью и судьбой.
Над всеми – и над тобой.

Он прожёт и взорвал небо свободы,
пустил отравленную стрелу
в зеницу солнца.

А народ воспевает его:
«Фиалка ты наша белая...
фиалка светлая»,
лучшими сыновьями,
их честью и жизнью
народ вертухаю пожертвовал.

Над остервенелыми островами,
над зоной смерти
сгорбилась чёрная
кровавая радуга –
от Велебита и до Бриона.

Земля моя!
Ты томишься в густеющей тьме,
в проклятой яме-тюрьме,
без надежды и вида –
От Ловчена до Охрида!

Стозубый ветер

Сеньская буря грозно гудит.
У неё острые ледяные зубы.
Народное изречение

Стозубый ветер
на землю хлынул,
треплет тучи, грызёт деревья.
Стозубый ветер
оставляет руины,
злобно грозит, зубами скрежещет.

Стозубый ветер взбивает пламя,
всюду его развеивает.
Воздух яростью разгорается –
не знает пощады он;
и сам ветер – пламени сеятель –
тоже испепелён.

Всё выдирают ветра
с необузданным рёвом.
Всё рассекает пламя,
не рассекает лишь горестный
камень страдания
и меня –
ведь я тоже камень.

Нигде мне дороги не было,
чтоб ветер меня не преследовал,
чёрным взглядом своим не давил меня,
не грозил
ледяными глыбами.

Стозубый ветер скрежещет,
ищет меня, пугает,
катится вниз по краю
бездны, гася надежду,
всё обращая в траур.

Я не могу уйти от чёрного ветра.
Он взрывает меня изнутри –
хочет сломить,
глаза мои погасить.

Когда было рукой подать до зари,
когда даже камень стонал от боли,
горькой песней я ветер просил:
«Опустись на траву», –
а он вихрем взмыл,
словно острый нож
сверкнул у него под горлом.

Ветер злобный всё резче бил,
стопы мои кострами палил.

Песне моей выкрутив руки,
ветер толкал её
к тёмным горным провалам,
чтоб никогда родных родников
измождённое солнце не увидало.

Я вырвусь у ветра,
вырвусь из пламени,
но кровь – не отпустит она
никогда меня.

Мне больше нигде утешенья нет.
Зато в крови моей –
только свет.

Без передышки, без сна
стозубый ветер рыдает,
угрюмо свищет и лает
среди грохота и огня.

Рвётся стозубый ветер
меня уничтожить,
стереть мой след.
Пусть рвётся!
В крови моей
останется только свет.

Ветер бьёт меня в грудь.
Замерзаю.
Но что-то гонит вперёд.

Исконную стужу несёт
ветер безжалостный.
Зубы стучат.

Ветер хочет, чтоб вся земля
зарыдала.

И всё-таки есть где-то чистое небо.
Что-то гонит меня вперёд.
Знают ветра удары:
сердце – единственный парус,
что не предаст меня и не подведёт!

Вечер всё крепче.
Кого он ищет? Чего он хочет на этом пути?
Разорвать меня?

Или в груди моей
солнце найти...

Солнце увидело мои раны
и онемело;
оно было в пятнах крови моей,
а мне было ещё тяжелей,
оттого что оно потускнело.

Те далёкие дни тучами не затянуты.
Солнце, встречая мой взгляд,
от стыда заливается краской,
что скрыло мои раны.

Солнце глядит на меня
ранами всей земли.

Обида горой ледяной
солнцу путь преградила –
надо осилить гору,
хоть подъём смертельно опасен.

Ненависть пожирает небо.
Разбился о зубья камней
босоногий ветер.

Чёрный ворон взлетел
солнцу на плечи.

* * *

В сердце моём –
все обугленные леса.
Слёзы мои
их корни питают...

На каждой ветке
чёрная птица,
и глазами чёрного камня
все птицы глядят на меня.
Над каждой птицей
нависла
камней стая.

Уже никогда
меня не дождётся родной порог,
не принести мне к нему
полные пригоршни солнца.

Я никому не кланяюсь,
никого не боюсь –
тому камню
и дереву
поклонился бы только,
и кусту ракитову,
и терновнику –
там, где мама
ждала так долго.

Страшно мне лишь одно –
не погибли бы
песни мои недопетые,
не замёрзли бы,
не убила бы их
ночь темнеющего востока.

Чтоб не увидеть мне мёртвому
песню убитую,
одинокую.

* * *

Одиночество,
ты меня не морочь.
Холодный камень
мне на горячую грудь не клади.
Но если звезду погасит
гранитная ночь –
вот тогда и меня
не буди.

Я – лёд в чёрном снегу.
Одиночество,
ты меня не дроби.
Лучше я умру
на бегу.

Долго смотрел я
страшному времени в очи.
Ты меня не пугай,
одиночество.

Вижу всё,
мыслям моим погибели нету –
пусть сперва моя песня
разольётся по свету.

* * *

Петару Комненичу

Когда Горан тебе посвятил
«Нашу свободу»,
он видел на горле родины
окровавленный нож.
Горан не знал,
что ты будешь первым
брошен в яму,
которую выроет для тебя
выродившаяся свобода –
и, бросая в яму своих творцов,
сама себя уничтожит.

Они тебе яму в мраморе выдолбили,
даже ворон над ней
своих чёрных снов не видит.
Над ямой звезда посрамлённая
встречает день, вся в крови.

Они тебе яму в мраморе выдолбили
там, где у всякого отнято имя,
там, где солнце само
на колючей проволоке распято.

Незаполненный протокол

Над бездной клубятся алчные небеса.
Смерть здесь каждый день за работой.
Безумье на камень свой груз бросает.
Даже небо с утра от крови промокло.

Вопль зари находит на нарах
оледенелых рабов под ключьями одеял.
Из бараков стада узников выгоняют,
как из гнили неронова гроба. «Встал!!

Живо, банда!» – от криков разрывается небо.
Стадо, в атаку, вперёд – растоптать
ещё одного мученика – человека,
того, кто в это утро не стал вставать,
не подчинился – ещё живой,
не поднялся с опущенной головой.

Утро вспарывают крики, удары:
«Гони сквозь строй!.. Сквозь строй его, гада!..
Гони его в штрафную команду!
Гони!.. Гони!.. Ишь – спать вздумал, банда!..»

Тащат, тащат... На бетон повалили,
бьют ногами:
«Вставай!.. Иди, пададь вшивая!»
Поставили на ноги мёртвого...
Завопили:
«Куда собрался? Ты это по чьим следам?
Видит всё бдительный глаз коллектива...
Саботажник!.. Мерзавец!..
Вредит всем нам!»

Где могила его – никому не узнать.
Многоликая смерть гору мрамора не расколет.
Вот так умер ещё один раб
без записи в протоколе.

Резкий звук – голос
старшины барака Хамдии:
«Все из барака – а ну, выходи!
У вас свои заботы...»

И только тихий шёпот:
«Без имени кончил свой путь –
саботировал следствие...»

Небо над Драгой мутное –
словно исчезли
и Солнце, и Путь Млечный.
Ещё Гераклит сказал:
«Всё течёт...»
Это все знают здесь –
и молчок.
Здесь у власти другой закон:
следствие вечно!

* * *

Земля моя, болью выжженная,
среди развалин и траура
пала ты на колени
на острый щебень тирана!

Стальная лоза,
переплетясь, ошетилилась иглами,
камень скрутила
и вздымается в небо,
охвачена криком гибели.

Земля моя, болью выжженная,
на этих рифах
разбился корабль века...
Я мёртв, но пою тебе:
«Подымись!»
Сам я всё потерял –
и голову, и свой дом...
Всё, кроме гитары раненой,
кроме надежд на рассвет
и твоё воскресение.

Кажется мне,
что уже я с жизнью расстался,
а где-то там, вдалеке,
песню печали
плачет гитара.

Плачет гитара,
голос рассвета всему вопреки не молчит
на пороге дня...
И гитара всплывает в ночи,
вырастает из ран у меня.

Земля моя, болью выжженная,
когда же ты перейдёшь через бездну
мраморных мук?
Плачет голос гитары
с креста
твоих связанных рук.

* * *

Если море окаменеет –
этот остров останется
зубом змеиным,
от крови остервенелым,
вечно жаждущим крови.

* * *

Я ранен, и это неизлечимо.
На крыльях моих – иней,
но, может, и я взлечу к свету
когда-нибудь.

Звезда духа ещё не погасла,
она освещает мне путь,
Чёрные веки на свой зрачок
она ещё не опустила.

Волна уносит
обломки мыслей моих –
только не в силах
она унести
каменных слёз
тоски.

* * *

Кто-то боится грома,
кто-то – даже своей тени.

А героям уже не вернуться,
не увидеть родного дома,
но герои не отрекутся
от своей колыбели.

* * *

Счастливы те, кто погиб, –
они не увидят
разрушенных идеалов –
этих серых просторов.

Сизый налёт лежит
на звёздах
и на соборах.

Железные корабли
в гавань смерти
свободу вывезли.
Оттуда теперь никогда
даже чайки
не вылетят.

* * *

Молния – огненная пчела –
возле лба моего
веретеном завилась.

Не сдаюсь.

Я нашёл вдохновенья
источник окаменевший.
Зелёные ветви жажды
вокруг него пламенеют.

Мчится огненная пчела
к роднику моего чела.

Не сдаюсь!

Ядранский Прометей

Над мраком мраморной ямы,
над омутом крови кипящей,
в оковах руки увяли,
на скалах раздавлены тачкой.

Здесь бездонную яму копает
безглазая ненависть чёрная,
камень отравлен снопами
отточенных жал нероновых.

Сеньскими бурями врезаны в склон
лица твоего раны,
все муки завязаны мёртвым узлом –
от нас до Янковича Стояна.

Кровавый камень пялится сквозь года
в солёную яму, в слепую бездонную воду.
И мёртвый Горан выходит из глыбы льда,
чтобы спросить тебя:

«Где же наша свобода...»

* * *

Солнце из крови рвётся,
хочет подняться над нами,
а над бездонным морем
на шее родины – камень.

Вьётся чаек голодная рать,
костяк свободы под ноги брошен –
свобода больше не может звать,
даже рыдать не может.

В Малой Драге цепь жутких барачков.
Чиркает ветер черепами о мрамор,
хлещет море – и волны дыбом.
Оркеструет злодейство колючая проволока.
Небо – запекшейся крови
чёрная глыба.

* * *

Роза среди шипов просыпается,
роза среди шипов улыбается
и дарит утру
капли росы.

Я тоже среди шипов,
но нет у меня улыбки, нет росы,
только капли крови
в морщинах лица.

У розы шипы живые,
в них есть душа.
Вокруг меня шипы – ржавые.
Вокруг меня
просыпается смерть,
щетинясь железными жалами.

* * *

Планета моя!
Неужели тебе не больно,
что ты забыла
мраморную пустыню под Велебитом,
куда вросли кости
моих братьев?

Планета моя!
Неужели ты не стыдишься забвенья?
Двадцать лет этот мраморный ад
жжёт моё сердце.

Не отпускает меня этот мрамор –
напрасно пытаюсь забыть проклятые тропы,
меняю континенты
и страны.

Планета моя!
Ты забыла мраморную пустыню,
где ещё в древние времена
погибли и тёрн, и сосна,
а теперь раздроблена в прах
надежда всей страны.

Ветра
вокруг этого ада из мрамора
змеиным узлом
связаны.

* * *

Сегодня эта земля
встречает убийцу.
Опять он будет топтать цветы,
утопая в них по колена.

А люди, чьё солнце топором его срублено,
люди, которые пали во славу этой земли,
раздавлены его сапогом,
убиты его змеиным зубом –
матерям не собрать их кости,
он швырнул их в бездонную тьму моря.

Он бросил туда людей, чьё сердце было великим,
как земля возрождённая.
Матерям не найти ни единой их кости.
Под кровом лесов – ни следа их.
С молодой листвы на них не капая слёзы.
До их костей и ворону не докаркаться.

Если всплывут черепа со дна моря –
их счастье, что они незрячи
и не видят, как выродилось ясное небо надежды,
как под светочем прежним
убийце на грудь
вешают орден Ленина.

Сегодня встречаются стервятника,
который выклевал сердце моей земли.
Вот он идёт. Грузный. Блистает мундиром.
Тяжёлым панцирем злодеяний.
В зубах его кость обглоданная –
моя родина.

Он удавил душу земли.
Его рука подвесила камень чёрный
над столетьем моим.
Если камень падёт –
то в потоки невинной крови.
Чужими костями он свои острова оградил.

Сегодня встречаются стервятника.

* * *

Здесь вспарывают кожу,
выламывают кости;
вот вырвана рука –
словно крыло беспомощного птенца.

Здесь брат не узнаёт брата;
только тогда его голос услышит,
когда тот занесёт над ним
дубинку или топор ката.

Один другого не спросит,
они не спросят даже самих себя:
правда ли, что когда-то
они вместе росли
и жили среди людей.

Здесь расплзлась повсюду
земная беда:
брат распинает брата,
каждый сам себя поедает.

Здесь бесправные люди
беспрерывно дробят камень и кости свои,
а по ночам убитых с камнями на шее
глотаёт мрачная бездна.

* * *

Скорчилось небо
в крови на мраморе –
в крови на мраморе
гаснут горы,
гаснет море.

На мраморе
поруганный храм свободы –
каждый его обломок
тонет в крови,
гаснет в крови, как жар очага.

На руинах разбитого храма
свалены скелеты революции,
память о них –
вырубленный лес.

Остовы смотрят
на осколки своих костей,
раскиданные среди скал, –
никогда их не вырвет ветер,
не унесёт к очагу родному.

Здесь забвенье не может
ни мхом, ни лишайником,
ни плющом
затянуть раздробленные скелеты.

Здесь забвением ветер
на флейте-голене воеет,
наколов на неё останки
мёртвого неба.

Ветер на голени воеет
и сквозь мёртвое небо
в ослепшую бьёт звезду.
Слепая звезда
не проснётся,
ей не вырвать скулящие кости
из трещин забвенья...

Воет ветер над скелетами, рассеянными
по развалинам храма,
воет над морем,
рядом с которым колышется
ветвь оливы в руке тирана.

Звёзды за облаками спят,
а ветер скулит в изумленье –
даже скелеты ещё
не потеряли надежду.

Одинок тоскует звезда слепая.
Ветер воет –
из голени тьма вырастает.

Где корень тьмы?

В ущельях забвенья этих
одинок воют скелеты.
Скелетам шагать невмочь.
Только скребёт их ветер,
и дожди
разбивают о них свои очи.

* * *

Под пирамидой наших костей
молчит время,
молчит в земле –
там, где отсечённые руки свободы.

На пирамиде – вóрон
с медалью на ленточке;
ворон пьёт кровь
из живого сердца наших детей.

Вянет земля от крови,
набрякла гневом молчания.
На пирамиде наших костей и отчаяния –
ночь без рассвета и – вóрон.

Покрыт лишаём забвенья голос безмолвия.
В бездну брошены наши вопли.

Протянута ворону
пригоршня солнечных зёрен
с порога домов, по зову которых
шли мы в атаку –
на смерть и в бессмертье.

Голый остров

Каменная челюсть грызёт горизонты,
в расплавленном солнце мрамор сгорает.
До искристой вены – кремнёвого стёклышка –
ветер веков всё в распыл пускает.

Алчный день разъедает остров палящими пятнами.
Из моря торчит его остриё голодное –
жгучий камень окружили стервятники,
бездны вод и сплетенья колючей проволоки.

Не обвивает молния камень забвенья,
не посещают его грóма небесного залпы,
он отравлен змеиными жалами,
клювами стервятников и кораблекрушений.

Притаилась гадюка в зловещей воде морской –
не спит ядовитый зуб, голодом обуян.
Крылатой песне и свободе людской
ты, голый остров – пугало и кровавый аркан.

Остров Раб

«Здесь Рим торговал рабами...»
Надпись на камне

Остров Раб удлинён, как гроб.
Тело в морщинах мертвенно-серых
высек из глыбы гранита раб.
Остров сжал своего творца
в лютом своем неподвижном сердце.
Остров Раб – не хранитель тайн,
вечно чужда ему тишина.
Смерть в безудержной пляске витает,
каменный гроб сотрясая до дна.
А море вздыхает усталым валом,
и ветер напрасно силится выместь
из каменных спазмов морщин угрюмых
свирепую ржавчину давней цепи...

Бледнеет луна над гранитным гробом,
и в лике мерцающем каменеет
череп раба.

* * *

Что же ты издеваешься, время,
что скалишь зубы
щербатым чудовищем
на колу?..

Все надежды мои
ты подло сажаешь на кол;
все пути мои истоптало
кровавыми, грязными
солдатскими сапогами.

Подло щеришься.
Давишь меня даже там,
где искал я главного утешенья,
и всё же я не могу
над самим собой насмеяться...
Весь я бит-перебит,
ломан – да недоломан!

Мои идеалы не ложны.
Они незапятнанны
в сердце моём.

Ты на кол сажаешь
надежды мои и подло
над ними глумишься, чудовище.

Но не ложны мои идеалы.
Ложно ты,
проклятое, подлое время.

Мраморная льдина

Нет на волнах Ядрана малых льдинок –
плывёт одна лишь мраморная льдина,
плывёт сквозь ночь,
плывёт и на рассвете,
когда она от крови пламенеет;
оторвалась от берега родного
и землю-мать навеки потеряла...

И с этой мёртвой льдины
гейзер стона
луну, как страшный череп,
бросил в небо –
пробитый чёрным клювом
мёртвый череп,
оскаленный над водами, что стали
мутны от крови,
солоны от слёз...

Плывёт по морю мраморная льдина,
и хмурится, и гневается небо...
Мне эта льдина ударяет в сердце,
и в целом мире нет такого ветра,
который оттолкнёт её, отгонит...

Куда ни двинусь –
мраморная льдина
мне видится и не даёт покоя,
сомкнуться не даёт крылам забвенья.
Об эту льдину разбиваясь,
гибнут
моих рассветов солнечные капли,
зелёное крыло весны желанной.

Плывёт по морю мраморная льдина,
и солнцу не даёт она коснуться
погибших дней,
что быстро пролетели.

Плывёт по морю мраморная льдина –
под ней, на дне,
не молкнет стон погибших:

они ещё скалу не позабыли,
не позабыли
ту каменоломню...

И та скала, которая с рассвета
под звон цепей кровавых разбивалась,
и батоги, что сломаны о кости
в строю спиральном, –
ими не забыты...

Далёкое созвездье потемнело –
последняя надежда утонувших...

В глухую полночь, даже в сновиденьях,
где б ни был я, в любых краях планеты –
скользит за мною мраморная льдина
и свой удар наносит прямо в сердце.

Дней дальность,
неоглядность расстояний
над пропастями яви не смыкают
крыла забвенья...
Горько стонет море
без моряков... И мраморная льдина
с волны Ядрана –
ударяет в сердце.

Антенна на мраморе

О память моя! Мой маяк – только мой.
А солнце само себя погасило.
О боль моя! Бились волна за волной.
Повсюду, повсюду мне гибель грозила.

Мечь – морю! За злобу на человека.
Мечь – смерти! За подлость и безрассудство.
Я – антенна на мраморе века!
А ветер в волнах – это ветер безумья.

О, как остановится ненависть наша,
забуду ли узника в каменной камере,
изгнанника времени (тяжкая чаша!).
Я – антенна на мраморе!

Мне пропасти прошлого горло сжимали.
– Дерзай! О дерзание красного знамени!
А факелы солнце сжигали, сжигали...
Я – антенна на мраморе!

Я жаждал рассвета, а ждал расстрела,
глаза завязали, к стене повернули,
и солнце на проволоке синело...
Я – не повинуюсь!

И стал я солдатом на солнечных скалах
сегодняшней битвы, сегодняшней армии.
Стою... эта буря меня не сломала.
Я – антенна на мраморе!

О боль моя! Ты потому и прекрасна –
мы звёзды и зори встречали в застенках,
потом нас бросали в костры, но – напрасно! –
на мраморных плитах сверкали антенны!

Мечь – морю! За злобу на человека.
Мечь – смерти! За смертников в каменных камерах.
Я – антенна на мраморе века!
Я – антенна на мраморе!

Мраморная раковина

Петару Комненичу

Под Велебитом – раковина из мрамора,
одинокая
над гневом вспененных бездн,
ветром боли до дна наполнена.
Стоном всех обездоленных островов
рыдает она.

Кто к ней приблизит ухо –
услышит вопли погибших братьев;
мать услышит последнее биение сердца
убитого сына.
Плачет мраморная раковина
потоками невыплаканных слёз –
не смолкают в ней
звуки злодейства...
В ней жало всех ужасов,
и не могут их заглушить
гроздь звуков
всех колоколов.

Стоны не знают
передышки и сна;
в этом мраморе –
океан преступлений.

Мерцает одинокая раковина
над безднами –
в ней всё горе моей родины.
Все сорванные с дерева надежды
перемололи жернова островов –
и голоса всех страданий
хранит мраморная раковина.

Увидит птицу
слепая раковина –
обескрылит птица;
посмотрит на звезду –
станут чёрными рассветы
над слепой водой.

В этой раковине стонут
бесконечные печали,
звонят в её спирали
крики всех прогнанных
сквозь спиральный строй.

В этой раковине погас
свет песен тех,
кто маяки искал.
Над дрожью стонов
зори, леденя, мутнеют,
а маяки
за горами молчат.

Стонет раковина
над роковым взмахом
чёрных крыльев
и вечной разлукой
с берегами...
Мраморная раковина
заглушает шум океана, –
в ней стоны забытых.
И небо над ней –
глухой траурный колокол.

Под слепым взглядом раковины
вздрагивает высушенное лицо Велебита.

В ней стонут струны
моей юности,
в ней прервана и убита
моя самая любимая песня.

И не спрашивайте,
почему печаль моя
чернее угля...
Мои глаза ранены
иглами мраморного тёрна.
И никто не исцелит мои раны –
в них тайна стонов
этой мраморной раковины.

Ревидирцы

Не сострада и не скорбя,
вы, предавшие самих себя,
бросившие близких,
оклеветавшие друзей своих,
вы распялили кожу их
на мёртвых мраморных
обелисках.

Колонны людей жаждущие,
раненные и ослеплённые,
как птицы обескрыленные
падают на камни.

Вы, ободравшие тело с костей
своих собратьев, друзей,
скелеты бросили в море,
в пропасти-щели,
и не закрыли мёртвым глаза,
бросили, каждому привязав
камень на шею.

Ваш мозг в послушный песок превращается,
зубы – как лезвия ненасытные,
острия, нормирующие
кубометры смертей.

Мосты от берега до островов
уже – из доносов и мёртвых голов,
носилки корчатся, мучаются,
но нет сострадания – только страх
на ваших важных, бесстыдных лбах
у проволоки колючей.

Берегитесь, люди,
вот – ревидирцы!
Бегите, люди! Эти – пришли
из пепла пекла нашей земли
с брызгами крови на лицах.
Настанет время – настанет суд,
но сейчас они на ладонях несут
такое, что и не приснится:

череп иссохшие,
судьбы предательства,
сердца свои вырванные...
И уже не люди – туши они,
насыщенные кровожадностью.

Их дубинки пощады не знали,
на клавишах тощих рёбер играли,
и лица они отвернули
от тех, кого предавали,
кому повязками завязали
лица, послав их под пули.

Берегитесь, люди,
среди вас – ревидирцы.

Они побратались с палачами,
и за заслуги от них получали –
всё, что давали, – брали:
пили воду и пищу жрали,
очи живые они выпивали
у мёртвых братьев.

Их колыбели – осквернены,
прокляли чрево своё их матери,
от них после смерти земля вздрагивает,
на их безымянных могилах –
лишь тёрн и змея.
У них посинели от крови губы,
у них посинели от крови зубы,
их имя – убийцы.
Их имя вовеки проклято будет.

Берегитесь, люди,
берегитесь, люди –
идут ревидирцы!

Прощайте, руки

Завтра впихнут меня в строй,
и новых узников зыбкие тени
пройдут. И тысячи выкрикнут: – О-ой!..
(О, эти хриплые, страшные звуки!)
Завтра вам грозит осквернение,
руки...

Мои руки!

Вы, катавшие валуны
в ржавых цепях, исхудавшие,
завтра будете обагрены
кровью товарищей наших!
Руки мои,

вас убьёт эта кровь.

Что же мне делать с вами?

Вы помните?.. –

«Мама», «Свобода», «Любовь»

первыми были словами,
что вы написали.

В тюремных ночах

вы им верны, как прежде.

Руки, на материнских плечах

вы были венком надежды!

Вы приносили цветы

на радость сестре и брату.

Вы обнимали гитару. И все

сердца были песням рады.

Руки, вы всё изменяли вокруг –

руки любое слепят.

Вы знали пожатье дружеских рук,

вы знали любовный трепет.

Трепет голубя, лепет листа

и пробуждение бури!

Вы знали оружия тяжёлую сталь,

в которой клопочут пули...

Был бой за свободу.

Но – порвана нить!

Опутаны мы цепями.
А вас задумали осквернить.
Что же мне делать с вами?!

Совесть встаёт надо мной, как судьба,
друзей воскресают лица,
и, чтоб уберечь от позора себя,
я должен с вами проститься.

Руки мои,
 вы помните всё!
Но больше – ни стона, ни звука.
Крутись, зубчатое колесо,
я отдаю тебе руки!

Руки, прощайте!..
 Завтра в строю,
в позорном строю вас не будет.
Электропиле,
 её острию
я отдаю вас...
 и – людям...

...О, и мёртвые – всё равно
будете вы моими!
Вы с совестью,
 с сердцем моим заодно –
моё сбережёт имя...

Голос убитых

Из-под песка говорю, из полусгнивших костей,
Рассыпанных в тёмной пучине.
Волны морские у острых камней
плещутся равнодушно;
рыбы, играя, скользят надо мной,
череп мой задевая.

Всё здесь темно.

Волны шумят, равнодушны и сини,
вытекли очи мои от укола иголок,
лежу я в безмолвной пучине,
свой бесконечный раскинувшей полог.
Мохом заросшие,
ноги мои переломаны, известью стали суставы,
складки упорства, надежды
застыли у рта величаво.
Шёл я ко дну сквозь взметённые воды,
рыбы скользили во тьме, чешуёй зеленея,
камень тяжёлый лежал у меня на груди,
камень висел на шее.
Ржавчина проволок съела узлы,
камень мне в грудь провалился...

Всё здесь темно.

Слушайте, люди!
Полно смотреть на сады и дворцы
и любоваться полётами чаек!
Кто из вас там глаза закрывает?
День обнимается с палачами,
в чаши кровавые им вино и зарю наливает.
Чувствую... тени плывут надо мной,
солнце и неба лазурь поглощаются тьмою,
кровь моя слышит и смех, и веселье
там, наверху,
и в мой подводный песок, в эту тину
доходит ко мне оскорбленье.
Боль и порыв мой смирились,
припоминая и раны, и битвы, и цепи.
Больше ничто у меня не болит.

Что же мне делать и думать о чём?
Что мне поведаёт полдня сиянье,
если он может смеяться с моим палачом,
смотрит на пальмы, любитесь их трепетаньем?
Страшный я слышу голос сейчас, –
скоро ль замолкнет хор палачей?
Время, скажи, дай ответ!
Ждём мы, здесь сотни покоятся нас
в тине, во мху этих тёмных глубин.

Всё здесь темно...

Сюда не доходит
нежный румянец рассвета.
С камнем на шее нашли мы могилу.
В ночь, когда волны бурлили,
нас глубоко в эту тьму опустили
где уже нет и надежд на спасенье,
где нас никто не может увидеть.
Слушайте ж голос из тьмы погребенья, –
пусть, одиночество нарушая,
там он звучит, где лишь темень немая.
Вести ужасные день к нам доносит нередко.
Окровавленную видите руку
с голубем, с мирной оливковой веткой
Там, наверху, погребают Свободу, –
ищет убийца признания, лавров почёта.

О, до каких ещё пор
будет голос звучать в этот сумрачный час?
Время, скажи, дай ответ.
Ждём мы. Здесь сотни покоятся
в тине, во мху этих тёмных глубин.

Убийца

В зеркалах разливается мгла
перед его лицом.
Перед его лицом
раскалываются зеркала.

Проламывается земля
там, где ступит его нога
перед его лицом
бежит даже тьма сама!

Он задремлет –
и зубы волка
раскрошатся о горло это, –
на грудь он положит руку –
а сердца нету...

Во сне зеркала окружают,
глядят в него слева и справа,
он вскинется, в крике дрожа,
и видит себя безглавым.

Перед его лицом
в зеркалах –
только ужас и мгла,
но, в надежде
увидеть безглавыми всех палачей,
не раскалываются зеркала!

Вопли камня

Рождалось солнце на моем плече,
и гасли звёзды под крылом зари
на остриях моих вершин. Я был
седой горы заоблачным горбом,
громадою под звёздами немymi,
гнездом орла и колыбелью бурь.

Из пор моих морщин подлесок вырастал.
Роптали сосны на ветру, когда
с горы на гору он бросал
гранаты зорь. Но вечность отняла
судьбы моей крутую высоту
и сосен зеленеющую песнь.
Я только помню, вздрогнула гора –
и я упал, и жалобы веков
мне зашептала синяя пучина.
Быть может, так рождались острова,
так сиротели горы Велебита.

Сейчас на мне туманы не лежат,
сосна и тёрн могучими корнями
не пьют мой сок. Щербата без меня
стоит гора, и острых рваных ран
её никто теперь не успокоит.

Веками беспокойный человек
убежище для мысли ищет в камне.
Из камня строит дом. Из камня высекает
свой образ. Сумерки ресниц,
румяные рассветы, и желанье
крылатое, и радугу мечты,
зловещих воронов и соколов надежды,
истому песни и столетий грохот,
улыбку милой, матери слезу,
мучителей своих, своих пророков,
ночь гибели, Победы светлый день.

...А на горе вечнозелёный бор, –
в прямых стволах, как в арфе, стонет ветер,
и ветры в струны молниями бьют.
Стоит сосна наперекор ветрам.

А в грудь мою свирепо волны хлещут,
как океана бегуны. И белый мрамор
их слушает, как вечности стенанье.
Я помню стужу. Но не зря во мне
художник будит образы вселенной.
Я помню час, когда я утонул,
когда меня пучина окружила.
Я ждал и жду с того лихого часа,
чтоб человек мне подарил глаза.
чтоб я увидел мать-гору, с чьих плеч
я полетел в глубины океана,
чтоб я увидел в сумрачной дали
румяное возникновение утра,
чтоб яростное пробуждение солнца
среди облачных просветов в высоте
приветствовать, чтоб видеть, люди, вас,
чтоб стать порогом вашего жилища.

Мрачнеет небо надо мной, и день
нежданно увядает, умирает
над чернотой бездны ледяной,
и проволока гасит маяки
кровавых глаз колючими шипами.
Когтистые стервятники выводят
в своих морщинах новых стервенят.
И кровь пятнает белизну мою,
в глазницах белых черепов свистит,
как в дуплах страха, ветер преступления,
и океан всей глубиной ревет.

Я мученикам разрушаю все
мечты, и сны, и трепетанье мысли,
ступни стираю и колени режу,
сушу сердца и глаз надежду пью.
...А молнии сверкают на горе,
в венки сплетаясь...

А по мне бегут
колонны босоногих. Зёрна града
их бьют наотмашь. Засыхает кровь
на белизне моей. Из белизны
тьма вытекает, омрачая солнце.
И кружат чайки, и на мне растут
лишь проволоки острые колючки,
суставы крошат ломом у меня –
и крошево бросают на носилки.

Я, сломанный, другим ломаю кости.
И дни меня бояться, потому что
застенки воздвигают из меня.
О, если бы тротил и динамит,
о, если бы все силы разрушенья
меня взорвали, если бы я стал
порогом дома, иль мостом, повисшим
дугою над излучиной реки,
о, если б искры, спящие во мне,
развевал ветер, – я бы сам запел!

Не в силах быть полезным никому,
считаю я безумия часы.
Я не могу порогом дома стать.
Я весь в крови. Не выйдет из меня
надгробная плита. На мне
терзают человеческое сердце,
которое внутри меня могло бы
невиданное солнце разбудить.

Цепями скованных бросают на меня, и время
резцом страданий бороздит их лбы.
На мне идёт резня живых скелетов. Гулко
меня ломают молотом, костями.
Я тяжестью униженных сгибаю,
ломаю им колени. Убиваю
уже убитых, и зловеще «Здравствуй!»
мне шепчет в ухо каменное смерть.
И смертью обречённые на смерть
и в зной и в дождь из камня высекают
своих убийц. Я – проклятое место,
я – мостовая смерти и тоски.

Я слышу в диком завыванье ветра
железный шелест тысячи цепей,
и судороги мускулов разбитых
я чувствую. Ползут по мне
в крови и прахе крепкие верёвки.
Я дрожью каменной дрожу от криков
острей ножа и разбиваюсь вдрызг,
как лист стекла... Я – дно земного ада.
Я – проклятое место. Брата брат
на мне подстерегает как убийца.
Нож палача здесь поднимают жертвы,
становится и жертва палачом.

Остановите острое зубило!
Не высекайте из меня бессмертный
лик человека. Мне и глаз не нужно.
Не нужен свет. Я вижу столько крови,
что небеса краснеют от неё.
Я в вечном бушевании воды.
Мне ветер душу отчуждением точит.
Я – кладбище свободы и убийца,
и утро убегает от меня.

Вскипает море вокруг меня, и птицы
испуганно кричат. Столетия
летят в немую ночь.
И свист бича и острие ножа
братаются на мне. И никогда
ни чёрный терн, ни терпкая полынь
не вырастут на мне. И звёзды надо мною
давным-давно ослепли и черны.
И диск луны от ужаса с орбиты
сорвался и кровавой головою
в морскую пену катится, шипя.

Верни меня обратно в горы, вечность,
в темнеющих ущелий колыбель,
дай мне забыть сегодняшнюю горечь!
Верни меня в ущелья. Пусть меня
обдуют снова ветры ледяные
и молнии, как сабли, просвистят,
ломаясь об меня, чтоб больше
я не ломал скелетов человеческих.

Я стал позорным пугалом веков.
Верните меня, вихри, снова в горы,
чтоб я услышал вой волков голодных
в ущельях снежных, а сейчас, наверно,
и волки убежали б от меня.
Верните меня в горы. Я теперь
кровавей крови. Пусть меня покроют
лишай и мох, листва деревьев осенних
тоскою одиночества. Я весь
остервенел в колючих иглах боли,
и хруст костей под топотом сапог
невыносим. Я весь размолот болью.
И сколько есть у вечности секунд –
на каждую хватило б капли крови.

Здесь вянут люди, леденеет свет,
и звёзды умирают, зная, где
укрыты человеческие кости.
По мне текут минуты преступления,
и времени не смыть, не смыть его.
О вечность! Прежде чем
вернуть мне день, – закрой мои глаза,
укрой меня в глубинах океана
или совсем испепели меня.
Вокруг меня бессонный океан.
И чайка на меня с упругих крыльев
стряхнуть не может в полдень каплю неба.
И я – багров, и море стало красным,
и в волнах моря – слёзы берегов,
и зори надо мной от дикой боли
заплаканы давно до слепоты.

Верните меня в горы или сбросьте
в глубины океана, чтоб меня
не обливал поток кровавой боли.
Я спрятан от Истории, и криком
моим кричат глубины океана
и горы Велебита. Нескончаем
поток мучений. Сбросьте в океан
меня! На мне качает ветер
живых скелетов оголённый лес.
Я – пугало кровавое. Я ветром
исхлёстан весь и кровью огорчён.
Я одинок.

Мне нет покоя, Вечность!
На мне гудят безумия шаги.
Пусть на меня не залетают птицы;
у белой чайки – белый клюв в крови.
Когда б со дна убитые восстали
и мёртвые подняли б кверху руки –
на мне бы вырос белый лес костей
и каждая волна могилой стала б, –
остались только б проволока, море
и я – преступник.

Тысячами жал
ползут по мне убийц ночные тени.
А мёртвые – не воскресают.

Вечность!
Ты сон мой ледяной оборвала,
потом деревья вырвала и травы,

как моря зеленеющие брови,
и грудь мою открыла стрелам солнца
и судорогам ветра, спину
мою подставив под удар бича...

На мне колонны обречённых судеб
людских сплелись в клубок змеиный.
На мне – волков голодная грызня.
И облака, как коршуны, и ночи
кричат и умирают под копытом
ветров. Глаза людей – как камни,
застывшие в солёной влаге моря.

Верни меня обратно в горы, Вечность,
из яростных клещей водоворотов!
Пусть горный ветер на хребте вершин
меня развеет, как седую тучу.
Пусть солнце умертвит меня и лёд.
Пусть молний свет и взрыв ночного грома
меня до основанья раздробят.

Здесь ветер и волна меня скребут
и день и ночь акульими зубами.
Но град и ураган мне было б легче
перенести, чем эти капли крови,
стекающие в землю с лика дня.
Они достигли бездны океана,
они добрались до моих корней,
в них собраны всё горе, все несчастья.
По мне хромают годы и столетья,
ступни стирая в кровь об острия.
Голодные восходы и закаты
сплелись в один водоворот безумий.
Струится кровь. Я – подлости и смерти
страшнейшая арена. И печаль
моя грызёт жилищ далёких крыши.

Я стал порогом кораблекрушений.
Когда серпы высоких облаков
лучи косые солнца подрезают,
из камня моего ваяют лик убийц.

Закройте мне глаза! Я вижу только смерть.
На мне лежит столетий преступленье.

Остановите острое зубило,
верните мне ущелий колыбель.
Я – камень проклятый, убийца человека.

Услышь мой голос, Вечность! Мною
дворцы убийц ваятель украшает.
Не надо глаз мне. Только ужас
кипит вокруг меня.
Я – смерть и преступленье.

В просветы белых облаков струится
кровавая заря. И – всё мне чуждо.
Не надо глаз мне! Я – орудье смерти,
и очерствела ненависть во мне.

Я жду рассвета с парусами солнца.
Я жду прыжка из синей глубины.

Безумия отточенные свёрла
расшевелият возмездия вулканы,
и сила ярости меня поднимет
на горную крутую высоту,
чтоб снова там меня окутал
платок широкий Млечного Пути,
чтоб из моих морщин поднялись сосны,
чтоб молнии сверкали в их вершинах,
чтоб из моих неисцелённых шрамов
тянулся к небу сучковатый тис,
чтоб облака грустили надо мною,
чтоб я окликнул юную зарю,
чтоб звёзды снова на меня слетали
с высот вселенной, чтобы никогда
меня не отдавали океану.

Давно на мне распахивали крылья
заря Надежды и Свободы сокол.

Когда же мои корни перестанут
быть родниками боли и тоски?

Пускай меня забвеньё не коснётся,
пусть каменные шрамы не забудут
в спиральных проволоки, на колючках,
в последней хватке судорогу рук.

Пусть память не забудет те минуты,
когда сухие губы камень
целуют, ищут каплю влаги,
и зубы, поражённые цингой,
на камне остаются, и зарю
пронзает крик невыносимой боли.

В забвении не тонут корабли,
гружёные скелетами. И кровь
на синих волнах остаётся вечно.

Забвение не покрывает ночь,
которая перед бараком низким
сучит во мраке петли преступления
и пьёт по капле пролитую кровь.

Запомнит память спёртое дыхание
и то, как дрожь полуночных допросов
в глаза бросает смерти якоря.

Забвение не скроет тощий голод,
что полз по мне на четвереньках, бредя,
со сломанной истерзанной Надеждой
которая до солнца доросла.

Я жду и жду. Я жажду дня Свободы,
когда в моих морщинах снова птицы
совьют гнездо, тёрн проволок исчезнет
и плющ зелёный раны обовьёт.

Нет, Вечность, моему остервененью
конца. Скажи, когда ж проснётся
вулкан возмездия? Я жду и жажду
рассвета знамя встретить на горé.

Не может вечно миром править ужас.
Я каменею перед зевом бездны.
И кровью набухают мои корни,
и день распят на остриях моих.

Я нового рожденья жду. Я жажду
возненавидеть смерть и преступления,
чтоб соснам косы заплетала буря
и молнии сверкали на горе.

Замурованный крик

В 1951 году на острове святой Грегур раскопали под глубокими слоями песка и щебня небольшую темницу времён римского императора Диоклетиана. Под темницей в склепе обнаружили три скелета, на руках которых были цепи, покрытые ржавчиной. В самом склепе была найдена мраморная плита с надписью: «Сюда высланы невинно осуждённые солдаты. Где твоя милость, где благородство твоего сердца, о император?!..» Вместе с мраморной мольбой они были зарыты жи-выми и две тысячи лет ждали милости своего императора...

Моя мольба под мрамором томится
двадцатый век.
Две тысячи годов
немеют руки в челюстях железа,
и ожиданье ржавчиной растёт
под мрамором
без зрения и света,
и цепь никто не в силах разорвать.

Органами гудели ветры.
Пели
гимн виселицам
на цепях в галерах
рабы,
чтоб император знал,
как мы в крови
над бездной смерти славим
его судьбы
высокую звезду,
что, если море обмелеет, –
крови
своих солдат добавит император
в пучину моря,
и его ладья
своей кормой высокой не коснётся
подводных скал
и не утонет в море.

Вот милости твои,
о, император!

От нашей крови расцветает ночь.
Ты думаешь, что жизнь твоя продлится
гораздо дольше мраморной мольбы!

Ты вездесущ.
Перед тобою стынут:
бескрайность моря,
горные рассветы
над дальними ущельями.
Убитым
твои шаги покоя не дают.

Лучи косые солнца над тобою
летят, как копья.
Может, ты боишься,
что копья солнца мрамор пробуравят
и цепь с моих запястий упадёт?

Нет, ты не слышишь
мраморной мольбы.
И солнце сохнет надо мною.
Жажда
змей выгоняет из расщелин тёмных,
и голод убивает муравья.

Я – жаждущий!
О, император! Ты
накрыл меня плитой забвенья.
Время
сотрёт мою мольбу,
но цепи
через тысячелетья миру скажут,
чьи кости ты в железо заковал.

Мы для тебя построили дворцы,
вручили в руки скипетр и раскрыли
над синим морем паруса знамён,
и красными аортами связали
края владений
царства твоего.

Вокруг тебя мы укрепили стражу
и факелы зажгли на перекрёстках
твоих дорог,
чтоб не споткнулась свита.

Мы вырубали каменные глыбы
из диких скал
и возводили стены
высоких колоколен, коллизеев,
чтоб с высоты,
своей забавы ради,
ты сбрасывал нас тиграм на арену.

Мы жезл тебе вручили не затем,
чтоб нас, как скот,
на бойню гнали слуги
желанья твоего.
Мы только
осмелились сказать,
что солнце
мир видит больше,
чем твои глаза.
Ты нас в пустыню заточил за это,
где не растёт на островах полынь,
лишь облака над нами проплывают,
чернее незаслуженной тоски.

Мы площади построили тебе
от горизонта
и до горизонта.
Мы соколов ловили, чтоб в тени
их лёгких крыльев отдыхали копья
невозмутимых всадников твоих.

Мы босиком
по инею и снегу
в горах сгоняли туров и косуль
под милость стрел твоих.

В пучинах
твоих морей мы добывали жемчуг,
песок перебирали по песчинке
и золото искали для тебя.
Бежали мы сквозь тёрн и можжевельник
за быстрыми оленями вдогонку,
чтобы твою палатку украшали
рога оленя.
Реки и ручьи
мы охраняли так, что даже птицы
над ними не решались пролетать.

А ты нас уничтожил.
Темнота
была свидетелем позорной казни.
Напрасно мать
по ямам и колодцам
меня искала на твоей земле.

Мы берегли твои деревья так,
что ветер листьев не касался,
птица
не смела тенью тронуть ненароком
в озёрах отражение луны.

Ты в утешенье матери бросал
её ребёнка под копыта.
В цепи
заковывал отца,
чтоб никогда
его нога случайно не ступила
в твоих лесах
на след твоих зверей.

О император!
Каменную глыбу
сними с меня.
Не бойся рук моих –
они мертвы и скованы цепями.

Ты не видал,
как мы глотали слёзы
и в смерти славословили тебя.

Ты наши руки пригвоздил к галерам.
И берега стонали под ногами
твоих непобедимых копьеносцев,
и наша кровь по мрамору текла.

Пролёты лестниц,
мраморные бюсты,
изображенья птиц и роз на камне
слезами пахнут
выколотых глаз.
Горячей кровью захлебнулся мрамор.
По мрамору зубила зазвенели,
как погребальный звон колоколов.

Мы сквозь решётки
не увидим неба
и слёз прощальных матерей своих.

Ты молодости нас лишил
и отнял
любовь и друга, крышу и очаг.
Мы падали от голода и жажды
на тех пирах, где пировали громко
за длинными роскошными столами
твоих желаний слуги.
Мы носили
им воду и вино,
но наша кровь
была для них
любых напитков слаще.

Всесильный!
Ты сияешь в ореоле.
А нас всё меньше.
Гуще хлещет кровь.
И ты растёшь.

Взгляни на злые когти,
которые вонзила мне в лицо
рысь твоей ненависти.
Должен
я песни петь,
когда твоя охрана
к петле подводит брата моего.

Разбей скорее мраморную глыбу!
Ужель тебе ещё не надоело
в крови купаться?!
Каменного сердца
ужели бездны не насытил ты?!
Подумал ты:
что вырастет из крови,
которую ты прóлил?

Мы сказали:
что небеса высо́ки,
солнце видит
гораздо больше под высоким небом,
чем глаз твоих величество.

За это
нас воском раскалённым ослепляли,
смолою обливали и сжигали,
на перекрёстках вешали,
тащили по острым камням,
привязав к повозкам,
в фундамент замуровывали, в кладку
мостов
и опускали в ямы,
и крик прощанья с небом и землёй
плитой забвенья закрывали прочно.

А в честь твою
к твоим ногам на камни
кидали розы наши палачи.
Ты был великодушен!
Ты не бросил
нас на съеденье рыбам.
Ты нас предал
живых – земле
и мрамором накрыл.

Сними плиту!
О император!
Нбчи
крыло воронье разорви над нами
и стражу из подвала уведи!
Мертвы мои натруженные руки
и скованы цепями.
На горьком прахе
моих друзей
построены твои
дворцы и храмы.
На крови невинных
благоухают,
расцветая, розы.

В день твоего рожденья
эстафеты
летели парусами по Ядрану.
Днём молодости
горы величали
день твоего рождения.
Цветами
дороги расцветали пред тобой.

И лишь в моих
закованных руках
ты видел нити заговоров.

Я
жил без дворца и чина.
Только мой
свободный взгляд,
весь обращённый к солнцу,
великим святотатством показался
твоей охране. Матери моей
она сказала, что твоя забота
превыше материнской.
И меня
под тяжкий мрамор заточили в яму,
где смешаны, по милости твоей,
святые кости мучеников
с прахом
братоубийц.

И два тысячелетья,
двадцатикратно век на век,
звенят
цепями над моею головою,
и только капли крови прожигают
напластований
плотные слои.

Столетний ветры сушат память.
Море
накатывает волнами на камень
и оставляет пену жалоб.
Руки,
без пульса, без оружия,
отвяжи!
Скинь надо мною мраморное бремя!

Мы только синим волнам поверяли
последние желания свои.
А наверху хохочут ветры,
цепи
звенят
и глухо стонут тени
слуг и солдат
под царственной пятой.

Мне синим светом не сияет небо.
Нет выхода из мрака.
Император!
Ты разорвал легко, как паутину,
все наши связи,
стёр мои следы.
Ты два тысячелетия над словами,
которые я вырубил на камне,
не прекращая, следствие ведёшь.
Ты их на каторгу сослал.
Но слово
острее стрел твоих.

О император!
Всё выше ты своё вздымаешь знамя,
всё тяжелей твой беспощадный шаг.
Ты уморился от смертей.
«Спаситель!» –
поют тебе хвалу и славу арфы.
«Святой!» –
монахи вторят арфам
и над тобою ладаном курят.

Дым жертвенников
слаще опьяненья,
и на святых холмах,
как справедливость,
твой меч прославлен.
Каждая звезда,
открытая на небе звездочётом,
была звездой династии твоей,
и ярче всех среди светил горела
та – под которою родился ты.

Нет у твоих
погибших легионов
ни обелисков, ни кладбищ.
Есть только
пьедесталы
с изображеньем лика твоего.
Ты приказал –
и отраженья башен
затрепетали на морской лазури,
и на вершинах гор твои знамёна
закрыли небо.

Даже соловьи
от страха превратились в попугаев
в твоих вольерах.

Мы твоих коней
вином поили. Над издохшим псом
твои певцы придворные рыдали
и славили его.
О император!
Ты думаешь, что мир и вечность
в твоих руках?
И для тебя готовит
твоя судьба
могильную плиту.

В твоих цепях мои засохли руки,
но милости не ждали от тебя.
Я знал,
что жизнь твоя недолговечней
плиты, которой ты меня накрыл.

Скинь этот камень страшный!
Хороводу
повешенных –
недостаёт тебя.

В холодный мрамор
превратилась милость
твоих благодеяний.
Я не знаю,
какие развеваются знамёна
над гаванью твоей.
Я только знаю,
что мой очаг
не теплится,
и ворон
гнездо покинул.
Отвяжи мне руки!
Хотя б во сне
их отвяжи!
Они устали истлевать в железе.
Лишь на твоём,
о император,
горле
они успокоение найдут.

* * *

Ты осчастливил мою родину
нищенским посохом и лагерями смерти.

Колочая проволока в крови, –
вот руки твои.

Через глазок в стальной двери
ты смотришь на закованную революцию,
изрубленную на куски по твоей милости.

Поднимаешься на крепостные стены –
на реки крови
падает жуткая тень твоя.

Растерзанное сердце моей родины –
за решёткой железных крестов,
искорёженных твоими руками.

Ты стиснул мне горло железным ошейником,
но песня моя всё громче.

Стих мой уже уничтожил тебя.
А ты всё ещё не понял.

Ненаписанное письмо

За нашу свободу я сражался
на острове том,
где кровь сжигает и камни.

Ты ли не знаешь, как чёрные стаи
над бездною боли кружат?
Ты ли не знаешь, как проволока
искажает земные черты?
В круге девятом девятое дно –
этот остров, мой остров, мой ад.
Ты ли не знаешь, как камни кричат?

И сажали средь мёртвых костей
деревца,
и торчала берцовая кость,
и водой поливали,
где жизнь отдавал
человек за прогорклую горсть
мутной воды...

Все напрасно!
Расти
там не могут деревья, где брат
брата вёл на расстрел,
где срывались пути
в пропасть
и грохотал камнепад.

Этот каменный остров –
могила людей.
Кто-то падал на камни – лицом,
и зубами змеиными из-под локтей
камни острым торчали концом,
но и кобры бы сдохли
среди этих камней,
среди этих зубчатых камней...

В клюве птицы,
что пересекала не раз
мёртвый воздух
над мёртвой землёй,

мёртвой ягодой стыл
человеческий глаз,
крылья были покрыты золой.
И сейчас моя память боится шагать
по земле изувеченной той.

Мне ли на камни бездушные те
птиц скликать и сажать деревца?
На Голгофе ни дуб не растёт, ни гнездо
вить не станет весной соловей.

Я сражался за правду на острове том,
не сгибаясь, не пряча лица,
не роняя ни чести, ни песни своей.
Да! Ни чести, ни песни своей!

Тирания

Воли и сердца лишает людей невинных.
Смерть посылает на улицы ночью поздней.
Требует: «Мать, отрекись от мёртвого сына!»
Старикам загоняет под ногти гвозди.

Отнимает у всех людей и очаг, и родину,
учит искать убийцу в родном отце.
А молодых бунтарей превращает в роботов,
хохочущих при виде черепа на шесте.

Обручем лагерей годы стискивает,
чтоб слезами и кровью траву оросить.
Девичьи косы привязывает к носилкам.
Даже раскаявшимся головы не сносить.

Бег бесконечен – тираны даже в агонии
толкают живых к преступлению и позору.
Страну босиком по острому щебню гонят.
Головы смелых бросают голодному морю.

Заволокло туманом глаза зари.
Тем, кто распят над бездной, растоптан, поруган,
палачи приказывают: «Улыбайся и говори!
Воспевай и славь благодеяния УДБы!»

С цепью на шее, с камнем отчаянья
колонны рабов бредут в чёрную явь дня.
Здесь человек родного брата встречает
окриком: «Банда! Голову ниже склоняй!»

Под тучами горестных лет горы стенают.
Во имя «сосуществованья и мира»
сто тысяч узников камень ломают.
В этой стране злодеянья нормированы.

В разъярённой пучины отверстую бездну
убитых затягивает исчерна-чёрный мрак.
Скелеты перевыполняют норму злодейства
за чечевичную пайку и брюквы шмат.

Кровью братьев люди руки полощут.
Костями товарищей и грудой камней
завалены, они свою смерть отсрочивают,
во сне проклиная день своего рожденья.

В омуте яви лица людей перекошены,
их глаза ледяным туманом украдены.
На пороге смерти люди пишут доносы
на детские сны и на мёртвого прадеда.

Волны в корчах сами себя проклинаят.
Снова кто-то на берегу замордован.
Знаки злодейства – в клювах прожорливых чаек.
Даже ветер от свежей крови солон.

Ветвь оливы на столе брионского пира,
а отчизна влачит вериги –
«во имя свободы, правды и мира...
и тепла сердец материнских».

Ночь – ворон тяжелокрылый –
каркает. Страшен зловещий крик.
Кровь оперенье ворона оледенила...
По острой щебёнке – тысячи ног босых.

Вопли, удары... Кости трещат, как жерди.
Зубы стучат от ледяющего страха.
Скелеты сами плетут себе сети смерти,
руки связаны – во избежанье замаха.

Всё под контролем... даже то, что за гробом,
те, кто с камня подняться уже не может.
Всё под контролем – и земная утроба,
и те, кого и голодный волк не сгложет...

Всюду беда завывает, а иглы яда
разят вернее, чем копыя, трезубцы и луки.
Воспоминания – лёд, зёрна града.
Иглы крепки, а кости людские – хрупки.

Кости увяли в пронзительном вопле жажды.
Солнечные лучи – смертельные стрелы.
Крестится в этой тьме даже безбожник.
Рощу надежд саранча сомнений объела.

Там, где веками вырваны корни деревьев,
где никогда вёсны траву не будят,
где увяли цветы и нежностью даже не веет, –
там только погром: на ветру гибнут люди.

Здесь даже тени своей человек боится.
Бойнями стали пляжи.
Здесь герои ждут милости от убийцы
и под его дудку пляшут.

Здесь ржавеют слёзы на скальной грани.
В перекрестье колючки, стонов и плача ветра –
цепи тех, кто повешен, кто чахнет в яме,
остервенело рычат и воют на каждом метре.

Стонут дороги, стонут ряды тополей.
Век рвётся вперёд быстротечным мельканьем.
Боль становится грудой холодных камней
в пересохшем русле бывших желаний.

В сердце камня змея жалом впилась.
Век – злобный шакал – щерит зубы.
Люди бросаются в воду, чтоб смерть спасла
от допросов в застенках УДБы.

Живых вместе с мёртвыми чёрная ночь погребает.
Нанизывает на штык крылья зари румяные.
Ночь мосты доверия в людях сжигает.
Ребёнок, у матери отнятый, брошен в яму.

Людей бросают туда, где нога не ступала,
где от острого камня бежал даже лёд.
С ветром только голодная птица осталась.
Людоед в дикий камень превратит и её.

Утро – гнездо, растоптанное на камне.
Дни проходят – лица их изувечены.
Люди сводят деревья, вгрызаются в скалы.
Опустилась на окна завеса безверия.

В сердце камня змея жалом впилась.
Век – шакал – ощерил зубы кровавые.
Люди бросаются в воду, чтоб смерть спасла
от жестокого глаза яви.

Это граница: проволока и мины.
Крылья свободе метко подрежет выстрел.
На всех путях объявления о поимке
поэзии – чтоб никогда не рожала истин.

* * *

Меня смололи камнедробилки.
Я собираю помол
на опасных путях;
собираю,
но не могу
создать себя заново.

Время катит свой тёмный вал,
чтоб поглотить часть меня –
то, что я не собрал...
Разве могу я песней собрать воедино
всего себя,
разбросанного по свету?

Все надежды и муки
не могут вместиться в песню –
песня тесна
для моей раны...

Только земля может
саму себя –
колыбель людскую –
вздыбить
курганом.

* * *

Навстречу мне идёт солнце
с распахнутыми руками,
а мои руки связаны.

Солнце меня не прогонит из жизни.
Слово имеют стервятники.

Солнце шло навстречу
а стервятники руки мне вяжут
потому, что у песни моей
не сломаны крылья.

* * *

Песне моей ломали руки
и забивали в ладони гвозди.

Песне моей сыпали соль в глаза
и обжигали огнём лицо.

Секиру к её челу прислоняли.
Стрелы всех войск мира
падают в моё сердце,
будто песня –
корень земли.

Песня – это не листья,
которые уносит ветер.

Если ветер унесёт песню –
она укореняется и рождает любовь,
чтоб любовь исцелила лик земли
от смертоносной
коросты ненависти.

* * *

Где вы, руки мои,
чтобы цепи расторгнуть,
чтобы петли порвать,
чтобы клетки повергнуть,
чтоб решётки разрушить!
Где вы, руки мои?
Вы могли бы
любовью
расшить необъятное небо...
Раны!
Плакать не надо,
сияйте огнём –
я сожгу,
я сожгу сорняки
с каждой нивы земной...
От земли
всё сильнее
отчуждается тёмное, злое...
Скоро в раненом сердце
великий наступит рассвет!
Окрылять я не буду
рождённых крылатыми –
погружу свои руки в поэмы,
пусть земля
полыхает весной!

Передайте им

Передайте яворам:
я не погиб.
Передайте матери:
я всё ближе к дому.

Мой век обессилел
от железа и злодеяний,
а я всё ещё жив
на ветру чужбины
и никому
не сдамся.

Если когда-нибудь я доберусь
до родимых холмов,
отведи меня, мама,
на тот росистый солнечный склон,
где пахнет земляникой,
где играют ягнята
и одинокие буки дышат.

Пусть явор меня
за руку возьмёт
и отведёт к этим скалам,
не обожжённым слезами.

Я горец.
Отведи меня, мама,
туда, где
студёная Капавица,
туда, где неприступный Каштак
высится в небе прозрачном.

Не предайте забвению!

Остров в кровавой пене,
смертью самой оголённый.
Не предайте забвению
этот мрамор солёный!
Солёный от горькой крови,
от нашего смертного пота.
Пусть он векам откроет
страдания и скорбь народа.
Храните правду истории!
И пусть эти камни помнят
предсмертные хрипы и стоны,
скелеты в каменоломнях.
Мы ртами воздух ловили
и рвали цепи руками.
Тяжелый свинец дистрофии
бросал нас на эти камни.
Одной лишь свободы требуя,
мы жили во тьме кромешной,
и звёзды качались в небе,
словно глаза повешенных...
Пусть правда наша воскреснет,
не быть ей в земле сырой!
Здесь молодость наша и песня,
и Родина
шли сквозь строй.

* * *

Лишь ветру – все наши жалобы.
Рёбра скал по утрам багровы.
Камень – и тот сбежал бы
от судорог этой крови.

Сколько раз ещё солнце оскалит
зубьев кровавых тыщи
и ночь-убийца на скалах
живые скелеты отыщет?

Нас карали, нас покоряли,
нас топили в солёной бездне...
Вздулись в мраморе капилляры
нашей кровью, ждущей возмездья.

Костям – говорить бы с ветром,
обрасти бы живую травую...
Не измерить ни глазом, ни метром
пучины над головою!

Пусть над нами – илистый щебень,
пусть над нами – просторы пенные,
пусть вода ото дна до неба –
только пусть не будет
забвенья!



Автор, бывший узник Голого острова,
после выписки из белградской больницы
(1951)

В глазах моих – только свет

Беседа с автором книги*

А.Б. Со студенческих лет я знаю ваше творчество, читал ваши поэтические книги на русском, литературоведческие и публицистические работы. Благодаря беседам с вами в последние годы лучше понял исторические процессы на Балканах. Знаю, что вы считаете себя черногорским и югославским поэтом. Я включил ваши стихи в антологию сербской поэзии XX века, учитывая, что в ней присутствует и особо любимый вами автор – черногорец Радован Зогович. Мы, русские, не разделяем сербов и черногорцев, считаем их братскими народами и надеемся на их взаимную солидарность. Вас непосредственно коснулся жесточайший террор, который после 1948 года титовский режим обрушил на тех, кто хотел сохранить дружбу с Советским Союзом – единство, продиктованное не только верностью социалистической идее, но и преемственностью традиций южных славян, веками приверженных братству с Россией. 22 года назад Бранка Богавац опубликовала обширную беседу с вами, где затронуты различные моменты вашей жизни, а также истории южных славян. Собеседница спросила: «Сегодня в прессе часто упоминается слово “титоизм“. Как бы вы охарактеризовали это явление?». Вы ответили сжато и емко:

«Титоизм – это вырожденные общественные структуры, где попрана всякая этика, где обман и беззаконие доведены до преступного абсурда. Титоизм – подлейшая и свирепейшая форма контрреволюции. Голый Оток** – концентрат и суть титоизма. Голый Оток – это фундамент его “независимости“, его “особого пути в социализм“. Титоизм означает не только уничтожение народа и лакейство перед одним человеком, но и полное уничтожение личности. Механизм Голого Отока – превращение жертвы в палача – это лицо титоизма. УДБа*** – позвоночник титовской системы. А что УДБа совершила на Голом Отоке? Создала и усовершенствовала механизм, чьей целью было убить в человеке все человеческое, создать нечто бесформенное и из этой бесформенной массы создать покорного раба, слугу режима – создать титовца. Постоянными мучениями и издевательствами были созданы существа, у которых нет своего «я», нет своего взгляда, нет ни одной искры веры ни во что доброе и человеческое. Люди были доведены до такого ужасного состояния, что говорили:

* Записана А. Базилевским с сохранением ряда черт стиля собеседника.

** Серб.-хорв.: *Голи Оток*. В тексте стихотворений везде: *Голый остров*. Находится в северной части *Ядрана* (Адриатического моря) между островом *Раб* и горой *Велебит*.

*** *УДБа* – управление госбезопасности в Федеративной Народной республике Югославии; спецслужба, осуществлявшая репрессии по распоряжению партийно-государственной верхушки.

«Вот и солнце сегодня дивно сияет благодаря товарищу Тито, благодаря партии». Голый Оток – не только мраморный остров-утёс под Велебитом, не только Святой Гргур, Углян, Билеча, Стара Градишка, Главняча, Мамула и многие другие места мучений. Ваш брат, Душан Богавац, сказал в одной беседе с Джиласом, что Голый Оток – гораздо шире этого понятия, что он везде, где правила уездная, областная или краевая УДБа... Я бы также согласился, что в течение многих лет после 1948 года психологическим Голым Отоком была вся Югославия. В то время не было ни одного честного югослава, который не ожидал полночного звонка или стука в дверь. Они ловили людей ночью. Никакая средневековая охота на ведьм, никакая охота на животных не может с этим сравниться. Речь идет о чем-то самом черном, античеловечном. Один из переживших пытки на Голом Отоке сказал на страницах газеты “Борба”: «Там мы все убиты». В каком-то смысле он прав, ибо там у узников убиты их самые лучшие дни... Но кое в чем обманулись и самые выдающиеся заплечных дел мастера УДБы. Человек омолаживается, воскресает, как сожженный кустарник, о котором оставила свидетельство поэзия. Из этой страшнейшей дробилки, перемалывавшей людей, многие вышли моральными победителями. Категорически подчеркиваю следующее: на Голом Отоке убит титоизм, убит перед историей, перед человечеством... Эта система проклята и во веки веков пригвождена к позорному столбу!»

Что бы вы сегодня добавили к сказанному тогда?

И.С. На Голый Оток и в другие лагеря с 1949 по 1955 год было брошено более ста тысяч югославских коммунистов, стойких революционеров, друзей СССР, сторонников пролетарского интернационализма. Это были честнейшие люди; вся их вина состояла в том, что они считали: отрыв от России губителен для Югославии. Среди узников были представители всех наций страны, люди всех профессий: рабочие и земледельцы, ученые, живописцы, писатели, лучшие военные кадры. Здесь оказались герои партизанского движения, генералы, депутаты народных скупщин всех республик, многие члены Центрального и краевых комитетов КПЮ. В том числе участники Октябрьской революции, сотрудники Коминтерна, ветераны интернациональных бригад в Испании. Попадали сюда и студенты, и ученики средних школ, которые, подобно молодогвардейцам, верили в идеалы свободы и пытались их отстаивать. Здесь обращались с ними хуже, чем со скотом, их жизнь не ставилась ни во что, многие нашли здесь свою гибель. Голый остров ужаса и смерти – позорнейшая страница истории XX века.

Титоизм сам себя сожрал. Десятилетиями я читал книги о средневековой инквизиции, о страшных лагерях XX века, беседовал с людьми, которые пережили Освенцим, Дахау, другие фашистские лагеря. В любую эпоху, в любой стране лагеря отмечены ужасом, бывает много убитых, умерших от голода и болезней, но нигде я не

встретил упоминаний о том, что палачи заставляли сына убивать отца, что брат был принужден убивать брата, ближайший друг – друга, которого считал ближе брата. Но при титовском режиме, остервеневшем от пролитой невинной крови, всеобщим законом было – рвать великие традиции и святейшие узы родства и доверия. Режим сеял ядовитую ненависть и подлость, был доведён до жесточайшего абсурда. Были попорчены все этические и юридические нормы, применялись самые жестокие пытки из арсенала мировой тирании и инквизиции. Своими грязными кровавыми руками палачи вырывали у людей душу и делали всё, чтоб эту пустоту в измученном человеке заполнить алчной заразой своей злобы, своей отравы. Титовская тирания – это глубочайшая катастрофа южных славян и опасность мировой заразы.

А.Б. Один ваш ответ смутил Б. Богавац. Она вас спросила: «Как вы себя чувствовали в тот день, когда узнали, что умер Йосип Броз?» Вы ответили: «Мне было грустно». Она сказала: «Разве это возможно?» Ваши слова были: «Возможно. Я грустил из-за того, что мой народ не сверг тирана при его жизни, не привлек его к ответственности по закону и не посадил на скамью подсудимых, чтоб он сам рассказал, как захватил и укрепил свою личную власть. Однако если бы до этого дошло, я бы никогда не согласился с применением телесных наказаний и пыток. Я всегда был против избияния и цепей по отношению к кому бы то ни было на свете. То, о чём я рассказал в своей поэзии, ужасает, но это лишь частица грозной правды; не забудьте, что действительность в тысячи раз страшнее самых трагических сцен в поэзии и литературе».

Й.С. Добавлю к этому следующее обращение к себе и ко всем, кто своим пером защищает человечность: зло и тиранов надо утопить в чернилах. Многие люди ожидают суда истории. Многие надеются на Божий суд. Я считаю: тем, кого осудит поэзия, не может быть убежища и спасения. Суд поэзии имеет планетарное значение. Правдивым поэтическим строкам не грозит ржавчина, не грозят забвение и смерть.

А.Б. Русские слависты в последнее время редко критикуют правление Тито. Они называют его «привлекательной исторической личностью».

Й.С. Тито вошел в историю, но не как борец за свободу и единство народа. Гражданская война в Югославии является следствием его авантюристических действий. Научные изыскания подтверждают, что Броз с давних пор был таким лжецом и клятвопреступником, каких до него на Балканах не бывало. Это был насильник и кровопийца, украшенный орденами и чинами алчный самозванец, верховный вдохновитель всемогущего механизма уничтожения и дирижер

ужаса в стране, где он правил. Кто-то скажет: «В международных делах он был миротворцем». Нет, он был предателем и подлецом. Годами поощрял клевету на Советский Союз, разжигал ненависть с огромной страстью, подобной ветру, который разносит пожар в лесу в дни летнего солнцестояния.

А.Б. Во многих книгах, изданных в Югославии, упоминается, что Тито сказал «нет!» Сталину и Коминформу.

И.С. Это выдумка. Никакого «нет!» Тито не сказал. Он просто отошел от международного коммунистического движения. Югославия сама себя исключила тем, что ее представители не явились на второе совещание Коминформа в Бухаресте. В 1948 году Тито в своих выступлениях и в официальных документах V съезда КПЮ клялся перед народами Югославии в верности великому Сталину и славному Советскому Союзу. Такие заклинания звучали даже осенью 1949-го. Но это глубочайшее лицемерие, ибо уже были ликвидированы многие выдающиеся коммунисты, тысячи друзей Советского Союза брошены в тюрьмы и подвергнуты жесточайшим пыткам. Опровергать это – значит навязывать людям политический дальтонизм.

А.Б. Было ли у Сталина намерение ввести Советскую армию в Югославию и таким образом решить спорные вопросы?

И.С. Вся борьба югославских партизан была бы напрасной без Красной Армии. Решающую роль в освобождении Югославии сыграла именно она, всему миру известно, что в Югославии погибли десятки тысяч советских воинов. Сталин и Советский Союз выполнили свой интернациональный долг и после освобождения Югославии: подарили югославской армии оружие, в том числе сотни самолетов. Советский Союз послал тысячи специалистов, чтобы помочь не только армии, но и всей стране в создании промышленности. Он оказал народам Югославии огромную материальную помощь в те дни, когда многие советские люди голодали, особенно в той части своей родины, где были разрушены сотни городов. Между тем, в разных книгах и газетных публикациях утверждается, будто Сталин хотел поработить Югославию.

После июня 1948-го в Югославии было арестовано несколько сот советских граждан (большинство были потомками белой эмиграции, а после войны получили советское гражданство). Были арестованы и некоторые русские люди старшего поколения, в том числе священники. Осенью 1949 г. титовская пропаганда объявила, что НКВД вербует против Югославии «даже русских белогвардейских священников». Готовились судебные процессы в Белграде и в Сараево. На заседании политбюро ЦК ВКПб, в ноябре 1949 года об арестах граждан в Югославии доложил Молотов. Сталин сказал:

рассмотрим этот вопрос и решим, что делать. На заседание был приглашен и вождь югославских патриотов, легендарный генерал Перо Попивода. Попивода мне рассказывал подробно об этом заседании.

«Высказались по очереди все члены политбюро. Все они считали: необходимо ввести в Югославию Советскую армию. Товарищ Сталин спросил и мое мнение. Я сказал: «Народы Югославии всегда боготворили Красную армию, благословляли ее спасительную роль. И сегодня народы Югославии будут с Советской армией». Слово «вводить» или «не вводить» я не упоминал. Очередь дошла до Молотова. Молотов сказал: «Я не согласен с введением Советской армии на территорию Югославии. Неудобно перед историей: прольется славянская кровь». Последним выступает товарищ Сталин: «Я не согласен с товарищем Молотовым. Что значит славянская кровь? Эта такая же кровь, как и кровь других народов». «В ту минуту, – рассказывает Попивода – я почувствовал по лицам и глазам радость членов политбюро, но никто не нарушил тишину. А Сталин продолжил: «Но я абсолютно не согласен с остальными членами политбюро. А вам хочу сказать, товарищ Попивода: я знаю, что вы осознаете значение Красной армии и что вы вместе со своим народом будете верны освободительной миссии нашей армии. Если югославский народ создаст пусть небольшой «островок» сопротивления на своей родине и если достойная личность нас пригласит, наша помощь будет незамедлительно оказана. Пока этого не будет, ни один наш солдат не вступит на территорию Югославии. *Мы марксисты-ленинцы и никогда не были и не будем сторонниками импорта контрреволюции и экспорта революции!*»

Этот рассказ П. Попивода повторял мне несколько раз и всегда ужасался, как клеветники извращают исторические факты. Он любил говорить: никогда Сталин не был захватчиком, он был принципиальным защитником суверенитета любого народа. Весь рассказ Попиводы имеет полное подтверждение в личном архиве Сталина и политбюро ЦК ВКПб.

А.Б. В России до сих пор мало знают о Голом Отоке, о том, кто из югославских писателей там томился, кто там убит. Однако неоднократно упоминалось, что узником Голого Отока был, будто бы, Добрица Чосич. Б. Богавац обратилась к вам с вопросом: «Читая ваши литературоведческие статьи о Леониде Леонове, я видела, что вы пишете и о Чосиче, что вы перевели на русский язык его эссе о Леонове. Вы знаете, что пресса в последнее время часто писала о визите Чосича на Голый Оток. Помог ли он вам в чем-нибудь? Как заключенные отнеслись к нему?».

Вы ответили так: «Когда Добрица Чосич посетил Голый Оток, к этим кровавым камням могли приблизиться только самые доверенные лица УДБы (т.е. часть ее руководящего ядра или кто-то по специальному заданию). Все знали, что прибытие Чосича на Голый Оток не могло состояться без разрешения Броза или Ранковича. За-

ключенные смотрели на Чосича, как на лояльного режима человека, принадлежащего к верхушке УДБы. Многие заключенные сочли этот визит недостойным (хотя не смели об этом говорить), ибо тогда узники и все честные люди считали большим позором быть под крылом и защитой Леки (Ранковича), быть облеченными его доверием. УДБа надеялась, что Чосич что-нибудь напишет в титовском духе, а это означало, что он нас оклеветает, очернит. Узники не могли даже в страшном сне представить, что Чосич ищет здесь вдохновения (а ведь он просил, чтоб ему разрешили этот визит). По прошествии долгого времени Чосич кое-что сказал об этом визите. Он признал, что был потрясен тем, что увидел, хотя он почти ничего не видел. Чосич на Отоке жил в роскошном здании, где жили следователи, наши палачи, истязатели своего народа; он питался вместе с ними, и эти трапезы были роскошней, чем банкеты в государственных верхах. Он пребывал в обществе начальника лагеря и высшей следовательской «элиты». Чосич не мог почувствовать, что такое голод, который кучу камней «превращает» в гору хлеба. Не мог ощутить, что такое жажда, работа «под трагачем», «бетонерки» (цементные ямы), где узник не мог ни сидеть ни лежать, мог только умирать на ночных допросах (когда от криков избиваемых дрожали даже камни). Он видел издали какие-то толпы, но не видел, как гонят сквозь строй, когда сотни, а часто и тысячи солагерников избивают и терзают одного человека».

Й.С. Чосич, вспоминая те дни, употребляет терминологию УДБы и тогдашней партийной пропаганды, когда говорит о Лабуде Кусовце. Кусовац никогда не был фракционером, он был истинным коммунистом, революционером, героем. Брозу было угодно объявить Кусовца фракционером, ибо еще в 1937 году Кусовац как член высшего партийного руководства предлагал созвать съезд компартии Югославии и на нем избрать руководство партии и генерального секретаря ЦК, чтобы сделать невозможными самозванство и махинации, дезавуировать лживые утверждения, будто Коминтерн кого-то послал «разобраться с ситуацией в партии». В 1957 году в Белграде Кусовац говорил мне о своем разговоре с Чосичем на Голом Отоке, когда он сказал: «На эти камни пролиты реки крови». Чосич об этом не упоминает (может быть, забыл). Он тогда не возвысил голос против мучений, унижений и массовых убийств. Ничем нам не помог и не мог помочь, даже если бы захотел.

Некоторые мои товарищи по несчастью говорили: «Чосич на Голый Оток и Святой Гргур смотрел как турист». Он не заглядывал в адские котлы, где кровь годами не просыхала, не склонялся над Петровой Ямой и Малой Драгой. Он не заглянул в бездну преступления. То, что там творилось, не было ломкой отдельных личностей или групп, там растоптали достоинство всего народа, довели людей до самоунижения и самопрезрения. Чосич знал, как югославские газеты с сочувствием писали о собаке Броза, которой специалисты

по велению «товарища Тито» пломбировали зубы золотом высшей пробы. Голодные дети, по приказу Броза выброшенные из квартир, мерзли на улицах, а их отцов убивали в темницах и на островах. Слёз этих детей пресса не заметила, а ведь их отцы четыре года воевали в партизанских отрядах и привели Броза и его группу к власти. Броз посылал свой личный самолет спасать стаи ласточек, чтоб их крылья не померзли в горах Словении, а партизанских комиссаров с его благословения пытали, прогоняли сквозь строй, окунали головой в параша, ломали им позвоночники и очерняли их имена.

После визита на Голый Оток Чосич оставался в аппарате режима почти 17 лет (до 1968 года). После падения Ранковича перед ним открылись еще более широкие «горизонты». Чосича больше всего потрясли ритуалы и роскошь на «Галебе» (корабль, на котором Броз посещал азиатские и африканские страны). Чосич был среди свиты, сопровождавшей Броза в этих поездках. «Галеб» иногда плавал по морям у экзотических берегов, при этом он беспрерывно плыл по морю невинной крови югославских народов. Многие закрывали глаза на весь ужас и позор этого режима, который десятилетиями смазывал свои шестерни кровью невинных.

Сам Чосич из факта визита на Голый Оток не создавал никаких легенд, легенды создают другие. Ложь – все рассказы о том, будто бы Чосич ознакомил Ранковича с истинным положением на Голлом Отоке. Ранкович эту ситуацию знал в тысячу раз лучше; он был там раньше Чосича, и ему как министру внутренних дел постоянно обо всем докладывали. Говорили, будто для кого-то в верхах было неожиданностью то, о чем рассказал Чосич. Но именно верхи (Тито и Ранкович) создали на Голлом Отоке ад. В течение тридцати лет югославская пресса не упоминала Голый Оток, не упоминала визит Чосича, но с конца 80-х годов возникают легенды, якобы Чосич спас многих югославских патриотов, брошенных в лагеря. В своих мемуарах Милован Джилас упоминает, что он поднял тревогу в связи с положением заключенных. Никакой «тревоги» Чосич не поднимал. У него была беседа с Джиласом, Ранковичем и Карделем. Ни Джилас, ни Ранкович не ужаснулись впечатлениям Чосича. Ранкович без всякого стыда сказал: «Но Чеча (Стефанович, заместитель Ранковича) об этом знает». Только Кардель резко прореагировал – грязно выругался, что вообще-то было ему не свойственно.

Чосич потом обо всем увиденном молчал. Может, кому-то из близких друзей что-то и доверил, но и ему за это грозила тюрьма, лагерь или случайная смерть (к примеру, под колесами автомобиля). Не было у Чосича смелости подобной той, что была у русских писателей в начале XX века. Когда Чехов увидел, в каких условиях на Сахалине живут заключенные, он написал знаменитый труд «Остров Сахалин». Слова Чехова вызвали отклик у большинства русских гуманистов, а сам он и Короленко в знак протеста против царского полицейского режима прервали членство в академии. А ведь условия на Сахалине выглядели раем в сравнении с титовскими лагерями.

В женском лагере на Святом Гргуре Чосич появился в шортах, без всякого стеснения перед живыми скелетами (многие были в синяках) и произнес ораторское слово: «Вы смоете с себя грязь предательства, снова вернетесь в свои дома и будете полезны обществу». Сам Чосич признает, что в глазах у этих рабынь заметил неприязнь и даже ненависть к себе. Ранкович советовал Чосичу: «Сейчас не надо писать об этом; если видел что-то плохое, в этом виноваты куфераши». В лагере на Голом Отоке тех, кто прибыл из Советского Союза, надсмотрщики называли куферашами (чемоданщиками). Это означало, что они прибыли в Югославию с чемоданчиком; никакие их заслуги не принимались в расчет, при том, что большинство из них имело активнейший революционный стаж, некоторые участвовали в гражданской войне в Испании, в обороне Сталинграда. Мы думали, что унижительное слово «куфераши» ревидирцы (т.е. «пересмотревшие позицию» – заключённые, которые предавали товарищей и ценой их крови выторговывали себе свободу) переняли от следователей – главных мучителей узников. Но оказывается, слово спустилось с верхов – от югославских правителей Ранковича и Броза.

Пару лет назад состоялась торжественная встреча с Добрицей Чосичем в московском Доме русского зарубежья. Ему вручили медаль Пушкина, осыпали его всеми почетными эпитетами, какими встречают бессмертных. Присутствовали руководители Союза писателей России, других творческих объединений, каждый из выступающих искал слова уважения и даже счастья, что может видеть и приветствовать Чосича. До каких масштабов дошла дезинформация, говорят факты. Николай Бурляев произнес следующие слова: «Добрица Чосич! Президент Югославии! Он четыре года сражался в рядах партизан против фашизма. Александр Солженицын четыре года воевал против немецких захватчиков и получил в награду ГУЛАГ. Добрица Чосич – героический партизан – получил Голый Оток». Выходит, по Бурляеву, что Чосич был узником Голого Отока, тогда как всё наоборот: когда на Голом Отоке рекой текла невинная кровь, Чосич был верным титовцем. Голый Оток он навестил, возможно, не только по своему желанию, но и по спецзаданию – как доверенное лицо верховных палачей югославских патриотов.

Далее Бурляев сказал: «Символично, что у этих двоих великих писателей-страдальцев одинаковая судьба». Напрасно Бурляев братает эти две фигуры. Если говорить языком правды, между Солженицыным и Чосичем нет ничего общего. Произведения их – антиподы. Солженицын – один из мировых корифеев самого мрачного антикоммунизма. Чосич против коммунистической идеи никогда не выступал. Большие романы Чосича – это все-таки литература, он – крупнейший живой прозаик Сербии. Сочинения Солженицына, за малым исключением – это громадное собрание материалов, требующих художественной и исторической обработки.

Солженицын все свои способности вложил в то, чтоб заминировать и разрушить величайшую крепость – Советский Союз (правда,

когда грандиозная крепость пала, от ее грохота вздрогнул и Солженицын, увидев, что это не сулит ничего хорошего ни России, ни бывшим советским народам). Чосич не был сторонником разрушения Югославии, но он потерял веру в прогресс человечества. На примере Югославии он видел, как храбрые воины и праведники после победы над фашизмом стали эгоистами, в борьбе за личную власть забыли партизанскую этику и готовы идти на любые уступки, лишь бы обеспечить себе удобную жизнь. Сегодня и сам Чосич похож на европейских разочаровавшихся интеллигентов, которые не готовы ничем пожертвовать для блага своего народа.

В своих «Записях» Чосич затрагивает некоторые важные моменты югославской жизни. И печалится – среди живых он не встречает больше никого из партизанского времени. Горько видеть в этих записях такие слова: «Нет больше славных удбовцев...» Известна его дружба с Ранковичем, Стефановичем, Пенезичем. Действительно, печальна судьба Чосича, если он не осознал, что имена этих «славных удбовцев» стали символами злодеяния и бесчеловечности, ибо они погубили больше невинных сербов и других югославов, чем самые злейшие паши Османской империи, которые из сербских голов строили башни.

Чосич противоречив, как и большинство людей. Он глубоко чувствует трагедию балканских народов, ужасается, многие годы встречая под «свободным» солнцем десятки выживших жертв Голого Отока. Вот его письмо Миленко Стояновичу, человеку, который пережил все фазы мучений на Голом Отоке, в «яме 101» и написал об этом книгу. Стоянович эмигрировал в Албанию, откуда думал перебраться в Советский Союз, но представители советского посольства в Тиране не позволили ему выполнить заветное желание. Существовала тайная договоренность между Тито и Хрущевым: не пускать больше коммунистов-эмигрантов в Советский Союз.

«Глубокоуважаемый Стоянович! Я получил книгу о Голом Отоке. Я прочел эту страшную хронику человеческого безумия, которого мы могли ожидать от кого угодно, только не от коммунистов, товарищей, сограждан. Я кое-что знаю, но никогда нельзя до конца понять и осознать такое организованное злодеяние над людьми и такие страдания. И всё – во имя счастливого будущего человечества... Об этом несчастье я кое-что напишу и в своем романе, который сейчас заканчиваю. Я прочитал достаточно книг мучеников Голого Отока и текстов о них. Ваша книга выделяется углубленным, фундаментальным подходом, впечатляющим богатством фактов. Спрашиваю себя, что еще можно сказать, ибо никогда не будет рассказано всё об этом человеческом страдании. Интересно, что о Св. Гргуре, Билече и Градишке не пишут. И женщины мало пишут. Мученицы онемели. Я получил ваше приглашение на лекцию на эту тему в Черногорской академии. По причине здоровья не могу приехать в Подгорицу. А правду вам сказать, мне нечего добавить. Писатели должны писать. Если б я был здоров, из уважения к вам и черногор-

ским страдальцам, я бы приехал, чтобы послушать вас. Добрица Чосич. 12.06.1995г.»

Еще несколько слов Чосича необходимо привести: «Наша борьба за свободу и новое общество была сожжением собственных домов, домов родителей, братьев и сестер». «История наказала нас вождем, который один оказался сильнее двадцати миллионов своих подданных. Среди них не было никого, кто бы, как Брут, больше любил Рим, чем Цезаря». В этих словах Чосича – осознание глубочайшей трагедии, к которой ведет гражданская война, и осуждение народной покорности, обеспечившей долгую жизнь тирану.

И в Сербии, и в Черногории было немало партизанских героев. Но в братоубийственной войне было слишком много невинных жертв. Подсчитано, что в Черногории больше людей погибло от рук своих, чем от итальянских и немецких оккупантов. В этой борьбе родилась ОЗНА – служба контрразведки, предшественница УДБы, о которой Оскар Давичо (чтоб угодить Ранковичу), сказал: «ОЗНА – всё узнает». Из ОЗНЫ выросла УДБа, а Ранкович сказал: «УДБа – меч революции». При этом слове у многих леденеет кровь в жилах. Горькие плоды деятельности этой тайной службы вкусили все народы Югославии.

А.Б. В 1949 и в начале 50-х годов в советской прессе часто упоминалось о подлом предательстве «клики Тито – Ранковича», об арестах и убийствах югославских коммунистов-интернационалистов. Но о лагерях смерти и об их ужасах и тогда конкретно не писали. Во второй половине 50-х годов настали иные времена, изменилась политическая линия. Но эта «линия» была неустойчивой, трудно было определить: сближает она народы или разделяет. В последние двадцать лет в русской печати редко упоминалось об арестах в 50-е годы югославских коммунистов – друзей СССР, а то, что террор против приверженцев идеи братства с Россией продолжался и позднее, фактически мало известно у нас и поныне.

Я знаю, что в Югославии вышло немало книг, в основном воспоминания, о застенках титовского режима. Но я не встречал ни одной поэтической книги или общего сборника – антологии мученичества. Знаю, что югославская пресса («Он», «Монитор», «Победа», «Борба», «Стваранье», «Политика») упоминает вас как поэта, который впервые глубоко затронул тему Голого Отока. Вы многогранный лирик, пишущий о природе, о тайне любви, но ваша поэзия всегда социально определена. Сейчас передо мной книга, вся посвященная страшному времени вашей жизни – жизни узника на Голом Отоке. Эта тема всегда была – явно или неявно – доминантой вашего творчества. Через кошмар Голого Отока прошли несколько десятков югославских литераторов. Написал ли еще кто-то из них поэтическую книгу об этом аде, как вы его справедливо называете?

И.С. Мне жаль, что в сегодняшней России не упоминают о злодеяниях титовского режима, но я не удивляюсь, ибо многие «забыли» и свою историю, и ту славную роль, которую в XX веке сыграл Советский Союз как спаситель европейской культуры, спаситель человечества. Для меня Советский Союз всегда останется победителем фашистской орды и вдохновителем всех свободомыслящих людей на планете. А тему Голого Отока, первым затронул, видимо, я – в своем сборнике «Зоны смерти» (1956) и поэме «Пою Октябрь» (1957). Там, среди стихов, посвященных природе и войне, рассеяны малозаметные искорки этой темы, но те, кто прошел через Голый Оток, узнавали и малейшие отголоски того страшного опыта. Узнавала и тайная полиция – УДБа, которая грозила мне смертью. Мой жизненный путь – путь сторонника коммунистической идеи, революционного борца – был тернист. Десятилетиями я жил вдали от родины. Советский Союз не был мне чужбиной – я верил, что это моя вторая родина, но свой родной край не мог увидеть в течение 37 лет. Мое имя в Югославии было под запретом, агенты УДБы пытались меня физически уничтожить в разных странах.

Отдельные стихотворения о Голом Отоке есть у десятков поэтов, но особого цикла или книги я не знаю. Быть выдающимся поэтом Голого Отока я не претендую. Был бы очень рад, если б таких поэтов было больше. Но ни в одном словаре мира нет такого богатства слов, которые могли бы впитать в себя все нюансы, все изломы человеческой души в безднах боли, в мученических сетях метаморфоз, в падениях и мраке безнадежности, в неожиданных воскрешениях почти из мертвых. Для того чтобы выразить полноту ужасов новой инквизиции – необходимо было бы соединить гений Данте, Шекспира, Достоевского и Негоша. Может быть, в будущем появится такая личность. У переживших тот апокалипсис накопилось столько боли, что это похоже на огромную каменоломню страдания. Не всем узникам удалось пережить Голый Оток и сохранить честь, чистую совесть и свои убеждения. В этой «каменоломне» есть разбитые сталактиты страха, есть кратеры жажды, высохшие челюсти голода и чудовища сомнения. И все это над бездной отчаяния! Там материал для будущих скульпторов, живописцев, композиторов и творцов новых эпопей.

А.Б. Во время массовых арестов и депортации заключенных в лагерь смерти на пустынные адриатические острова, были ли протесты ООН в связи с нарушениями прав человека в Югославии?

И.С. В ООН никаких протестов не было. Капиталистические правители и буржуазные идеологи радовались ситуации в Югославии. Всем известно, что кровь коммунистов они не считают человеческой кровью, их радует, когда в странах, где началось построение социализма, происходят трагедии. Тогда у них появляется надежда, что эти страны станут их вассалами. Мало кто помнит, что в начале

50-х годов титовская дипломатия пыталась сколотить так называемый Балканский пакт (Югославия – Греция – Турция), который прямо был связан и согласован с НАТО. Сегодня историки забыли о существовании такого пакта, а зря.

В 50-е годы состоялось несколько Конгрессов сторонников мира, где видную роль играли советские деятели культуры: Александр Фадеев, Константин Симонов и другие. Представители Югославии, сторонники Тито, были исключены из президиума Конгресса. Конгресс сторонников мира осудил «титовскую клику» за террор, аресты и убийства югославских патриотов и избрал в президиум подлинного героя, генерала Перо Попиводу.

А.Б. Сколько стихотворений о Голом Отоке вы напечатали в своих книгах, в общих сборниках («Дни поэзии»), в советских журналах и газетах? Какая из советских публикаций вас больше всего порадовала? Как вам вообще удавалось печатать эти тексты? Ведь советская цензура не пропускала эту тему, дабы не осложнять дипломатических отношений с титовской Югославией.

И.С. Я опубликовал в советской печати более ста стихотворений о Голом Отоке, но неопубликованных у меня гораздо больше. Из стихотворений данной книги на моем родном языке напечатано очень мало (с десяток), но почти половина опубликована на русском (остальные сейчас переведены впервые). Больше всего я был рад публикации поэмы «Замурованный крик» в переводе Михаила Дудина. «Здесь, в Москве, ее не напечатают, – сказал он мне в 1969 году. – Ты едешь в Ашхабад. Там есть хорошие ребята, там Кербабаев, Каусов и другие – поговори с ними». В Туркмении я впервые увидел пустыню. Меня предупредили: «Не уходи далеко. Песок живой, он движется». А я пошел по пустыне, нигде никого в течение трех часов не видел и потерял то место, где должны были меня забрать. Волны песка начали меня пугать. Они двигались. Наконец меня нашли, привезли в город. Я отказался от вечера, который писатели хотели провести в мою честь, и ушел в гостиницу. Всю ночь не спал, писал (за ночь родилась поэма «Каракумы»). Я пробыл в Ашхабаде месяц. Выступал по радио, по телевидению, поэму «Замурованный крик» напечатали в одной из главных газет республики, потом сбросировали. Вернувшись в Ленинград, я опубликовал ее в книге. Эта поэма вызвала гнев Броза, началась охота на меня.

В 1976 году Брежнев посетил Югославию. Один из официальных переводчиков потом рассказал мне вот что. К тому времени в Югославии уже было дважды издано собрание сочинений Солженицына, Советский Союз направлял по этому поводу ноты протеста. Брежнев сказал Тито: «Как-то неудобно, что ваши издательства печатают Солженицына; он враг нашего государства». Тито ответил: «У нас издательства свободны. Мы не вмешиваемся в их дела». То-

гда Брежнев сказал: «А у нас всё печатается только по согласованию с партийными организациями». Тут по команде Броза Минич (министр иностранных дел) достает пачку моих книг, изданных в Советском Союзе. «Вот там у вас некий поэт, который тоже является нашим врагом, вещает...» – «Мы разберемся». Тогда как раз вышла книга «Струны земли»; вскоре она за один день была изъята из продажи во всех городах Советского Союза. Я пришел в магазин «Книги» на Невском проспекте. Накануне было почти сто экземпляров, а теперь – ни одной. «Неужели всё распродано?». Продавец ответил со страхом: «Пришел человек и все ваши книги забрал». Звоню в другие магазины – нигде ни одной книги.

Я отправился в Москву и позвонил в ЦК. Референт по культуре Шауров спрашивает: «Но вы получили гонорар?» – «Получил». – «Дальше вам нечего интересоваться». – «Как нечего?» – «Если в книге что-то не так, это вина редакторов». – «В моей книге нет ни одного слова против государства или какого-либо гражданина. Никакой вины редакторов нет». – «Мы с редакторами сами разберемся». – «Что значит разберемся?» – «Мы их сменим». – «Никакой смены не может быть. Если вы не верите товарищам Прокушевой, Сорокиной и Кузнецовой, я покончу с собой на Красной площади». – «Что, у вас пистолет есть?» – «Пистолета нет, но я возьму лезвие и вскрою себе вены». От редакции издательства «Современник» беду удалось отвести. Однако работник ЦК мне сказал: «Вам теперь будет трудно печататься, вы вышли на дипломатическую орбиту, дело касается взаимоотношений между государствами».

Однако никогда в Советском Союзе цензура не вычеркнула ни одной моей поэтической строчки. Юридически никто не мог придраться к моим стихам. Титовская охранка через МИД Югославии протестовала против их публикации, но никогда в нотах не конкретизировалось, чем стихи им мешают. А я ни ближайшим друзьям, ни редакторам не объяснял, о чем эти стихи на самом деле. В примечаниях к сборникам говорилось, что я разрабатываю антифашистскую тему и продолжаю традицию, начатую Гораном Ковачичем.

Хорватский поэт Иван Горан Ковачич создал знаменитую поэму о злодеяниях усташей и других фашистов – «Яма». Его зарезали в 1943 году четники в глухом лесу, никто не знает, где его могила. Наши партизаны нашли окровавленные страницы из его тетради, с набросками, которые невозможно было прочитать. Но большую часть стихотворений Горана спас черногорский революционер, историк Петар Комненич. Ковачич одно время был в его партизанском отряде и оставил ему почти все свои оконченные стихи. В 1943 году Горан посвятил Комненичу стихотворение «Наша свобода». В 1948 году Комненич был председателем Народной Скупщины Черногории. В 1948 году он и большая часть политбюро компартии Черногории были арестованы за согласие с линией Советского Союза.

В 1950 году, после тяжелого бойкота*, который я пережил в бараке №9, я был перемещен в барак №12. Узников этого барака ежедневно отправляли на тяжелую работу за колючей проволокой. Никто из других барачников не видел, где мы работали. Нам пришлось вгрызаться в землю и вытягивать камни; возник большой котлован, который обнесли толстой, почти как китайская, стеной. По стене днем и ночью ходили офицеры УДБы и милиционеры с автоматами. Потом другие люди, не знаю кто, построили в котловане барак и отдельно, на высоте стены, специальный домик. Там была особо изолированная яма-тюрьма – то, что в Азии называют «зиндан». Позднее стало известно, что там применяли страшные пытки. Там был собран цвет югославских революционеров, участников международного коммунистического движения. УДБа превратило эту яму в инквизиторскую твердыню, ее назвали «объект 101». А узники прозвали ее «Петрова Рупа» («рупа» означает «углубление» или «яма»). Первого узника, которого УДБа бросила в эту яму, был Петар Комненич, партизанский командир и друг Горана Ковачича.

В одном из стихотворений я обращаюсь к убитому Горану: прошу его разрешения разрабатывать поэтически ту тему, которую он начал в своей «Яме», ибо тот нож, который убил поэта, грозит славному революционеру Комненичу. В нескольких моих сборниках есть циклы: «Стены Горана», «Монолог Горана», «Вопли Горана»... Фактически Ковачич – мой поэтический спаситель. Вопли Горана в моих стихах – это мои вопли. Горан в моей поэзии – это я. Хотя эпохи не совпадают, но по злым делам во многом адекватны, нынешнее зло даже превосходит прежнее.

А.Б. В этой книге вы впервые последовательно объединили свои стихи разных лет, связанные с темой Голого Отока. Когда от страданий невозможно хоть на миг отрешиться, отделить их от себя, трудно и помыслить о «литературном труде». Как правило, пишут потом – вновь окунаясь в пережитое. Когда вам удалось впервые поэтически воплотить эту бесконечно ранящую тему?

Й.С. Какие-то строки приходили еще в лагере. Но я ничего не мог записать на бумаге, и ни одно мое поэтическое слово там не было произнесено – некому было доверить. Бумагу УДБа давала только в случае, если заключенный желал дополнить протокол следствия, а это означало – предать кого-то из соратников, кого-то из друзей, родственников, единомышленников, «врагов Тито и партии». Я твердо решил погнубить, но никого не привести на Голый Оток. Из-за своей «пассивности» пережил бойкот, прогоны сквозь строй, самые тяжелые работы. Жажда остаться живым и когда-нибудь написать правду обо всем этом горела во мне. Ведь здесь, под горой Ве-

* *Бойкот* – в условиях Голого Отока: тягчайшее испытание, означавшее полное лишение всех прав и прямую угрозу жизни.

лебит, обосновался самый настоящий ад. И еще одно держало меня в жизни: мысль о маме, о том, что для нее страшнее всего моя гибель и то, что она никогда не узнает, где мои кости (а их бы бросили, как сотни других, на дно Ядрана).

После освобождения я много писал о пережитом, но скрывал это даже от самых близких. В моей книге «Зоны смерти» есть строки, которые узники Голого Отока верно истолковали как свидетельство их жизни. Эти стихи распознавали и удбицы, особенно те, кто был следователем на Голом Отоке. Для тех, кто не был в курсе дела, эти стихи выглядели, как отражение военной темы, проклятье войне. В поэме «Пою Октябрь» были строки: «Я босиком прошел голые острова и услышал крики с виселиц». Поэма была напечатана в Белграде, и московское радио, вещавшее на Югославию, передавало ее на сербском языке в дни сорокалетия Октябрьской революции.

Почти все стихотворения данной книги созданы давно (сорок-пятьдесят лет назад). Трагедия, запечатленная в них, во многом дублирует трагедию моей жизни. Надеюсь, что читатели и по их содержанию, и по моим пояснениям поймут, о чем эта книга, что и кого она осуждает, во имя чего ратует. Это художественный документ, поэтическое отражение глубочайшей трагедии, острейшее осуждение беззакония – палачества титовской эпохи. Реквием по убиенным и умершим от последствий пыток. Мозаика воплей, хроника страдания и завещание в духе этики моего народа: забвение – вторая смерть. После второй смерти нет воскрешения, остается только ледяная пустота. Берега и острова Адриатики сегодня живут другой жизнью. Голоса убитых не слышны, они забетонированы на дне моря, но я их слышу. Убитые были праведниками, героическими борцами, романтиками, они мечтали о мирной и счастливой жизни на земле. Временами мне кажется, что голос поэзии может вызволить народ из унижения, страха перед действительностью. Может быть, поэзия прикоснется к нерву времени, к тем дням, когда была изувечена судьба народа, искажен лик свободы. Для меня поэзия – светлое оружие духа, которому никакое насилие не набросит петлю на горло. Поэзия, которая вырвалась из казематов тирании, неукротима. Ее крылья не может сжечь никакая сила. Ей под силу убить семиглавую гидру, заставить ее не появляться вновь под солнцем.

А.Б. В 2008 году на первых страницах «Политики» была напечатана беседа с вами. Один из вопросов гласил: «Чего хотели Сталин и Молотов, обращаясь со своими письмами к Центральному Комитету Компартии Югославии?». Ваш ответ был короток и ясен: «Сталин и Молотов этими словами дружеской критики хотели спасти компартию Югославии от оппортунистической и ревизионистской заразы».

Й.С. В 1947 году было создано Информационное бюро коммунистических и рабочих партий. Кроме ВКПб, в него входили компартии стран народной демократии: Болгарии, Югославии, Венгрии,

Румынии, Чехословакии и Польши. Входили и две крупные компартии капиталистических стран – Франции и Италии. Согласован был принцип братской солидарности: обязательство искренне извещать друг друга о положении в своих странах, намерениях и планах. На первом совещании Информбюро были подвергнуты острой критике компартии Италии (выступил Кардель) и Франции (выступил Жилас); делегации ВКПб (Жданову и Сулову) принципиальность югославских товарищей очень понравилась, их сердечно поблагодарили.

Через неполный год в письмах Сталина и Молотова появилась фактически мягкая, но аргументированная критика положения в компартии Югославии. Дело в том, что эта партия и после освобождения страны оставалась в своеобразном подполье. Ни на одном предприятии, ни в каких учебных и научных институтах и других организациях не проводились открытые партсобрания, хотя в прессе прославлялась руководящая роль партии, писали о ее заслугах и планах. Тут придется сделать экскурс в историю партии.

Известно, что в 30-е годы в компартии Югославии были случаи предательства, шла фракционная борьба. Коммунисты часто не знали, кто ими руководит и где находится руководство. Часть руководящих деятелей жила в Вене, в Париже, в Москве. В конце 30-х годов в Москве была арестована большая группа выдающихся югославских коммунистов (многие были расстреляны, но об этом не упоминали ни советская, ни югославская пресса). Орган компартии Югославии – газета «Пролетер» – огласила имена нескольких десятков югославских революционных деятелей, все они были охарактеризованы как «агенты полиции», «троцкисты», «раскольники», «подлые трусы», которые «недостойно вели себя перед классовым врагом» и т.п. Никаких доказательств их «предательства» или «троцкизма» не приводилось. Многих членов компартии это смущало, они надеялись, что в Советском Союзе – «стране свободы и справедливости» – ничего плохого с этими людьми не случится, что Советский Союз и Коминтерн не позволят, чтоб пострадали невинные люди.

В Коминтерне было правило: ни один иностранный коммунист не может быть репрессирован без санкции своей партии. Позднее стало известно: все люди, чьи имена были приведены в газете «Пролетер», арестованы и уничтожены органами НКВД на основе официального мнения руководства компартии Югославии.

Редактором «Пролетера» был Родолуб Чолакович. Он в 20-е годы принадлежал к группе заговорщиков, которая расстреляла министра полиции Драшковица. Буржуазное правительство заклеило компартию как опасную террористическую организацию, ее деятельность была запрещена. Тогда был осужден на смерть через повешение Алия Алиягич, а Чолаковичу дали двенадцать лет тюрьмы. Отбыв срок, он вышел на волю и был нелегально перебросен в Австрию, затем в Советский Союз, где учился в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада в Москве. Комин-

терн осудил его принадлежность к террористической группировке, он был подвергнут острой и справедливой критике, но ему многое простили благодаря достойному поведению в тюрьме. Генеральным секретарем компартии Югославии был тогда Милан Горкич; зная Чолаковича с юности и считая его талантливым публицистом, Горкич предложил избрать его в ЦК.

Список коммунистов, очерненных газетой «Пролетер», был составлен под диктовку Йосипа Броза. Чолакович не противостоял ему, хотя среди очерненных было несколько ближайших друзей самого Чолаковича. Фактически, опубликовав статью в «Пролетере», он совершил преступление – содействуя ликвидации ни в чем не повинных людей. Вероятно, Чолакович осознавал свою преступную роль. Испытывал ли он угрызения совести – неизвестно.

В 1937 году Горкича, который тогда находился в Париже, пригласили в Москву и арестовали. Компартия Югославии осталась без руководителя, и наметилось несколько тенденций в разрешении сложнейшей ситуации. Коммунистам в Париже и Югославии не объявили, что случилось с Горкичем, который был популярен, выделялся теоретическими способностями, отличался безупречной партийной дисциплиной. Для парижской группы стало неожиданным появление Йосипа Броза – «Вальтера», который сразу обвинил некоторых стойких коммунистов в том, что они сторонники Горкича, хотя сам Броз был кооптирован в ЦК именно по его предложению. Слова Горкича были следующие: «Наша партия – марксистская – партия рабочего класса, а в нашем руководстве рабочих почти нет. Предлагаю избрать в ЦК загребского рабочего Вальтера. Он дисциплинирован, но его интеллектуальные способности очень скромные, и мы должны ему помочь». Броз никому не прощал даже малейшей критики, тем более недооценки его персоны – он только ждал момента и повода, чтоб отомстить. И тут он дал выход затаенной злобе против Горкича, начал всячески на него клеветать и активно выявлять его близких друзей, предлагая исключить их из партии.

Когда в Испании разразилась гражданская война, сотни югославов встали на защиту Республики. Подпольно прибывали добровольцы не только из Югославии, но и югославы, работавшие в других странах, в том числе в Америке. Большой корабль, на котором должны были отплыть добровольцы из Черногории, Герцеговины и Далмации, был захвачен югославской полицией в черногорском приморье. Ответственным за рейс был Вальтер. Документально подтверждено, что именно из-за того, что он не соблюдал правила конспирации, в руки полиции попало более пятисот человек. Броз всю вину свалил на Горкича и «плохую погоду», а тех, кто знал его подноготную, тайными письмами в Испанию приказал послать на первую линию огня – кое-кто потом был убит выстрелом в спину. После ареста Горкича Вальтер засыпал кадровую комиссию Коминтерна характеристиками (клеветническими доносами) на выдающихся югославских коммунистов, нашедших убежище в Советском Союзе.

Все они были арестованы, а Броз делал вид, что он об этом не знает. В Коминтерне он старался каждому из них навредить, обычно такими словами: «Товарищи, в Югославии имеются сведения, что такой-то и такой-то на следствии в полиции выдал все связи, из-за чего полиция парализовала деятельность компартии, раскрыла большую часть подпольных центров». Самое гнусное и отвратительное, что совершил Броз, – он очернил выдающихся коммунистов той эпохи, утверждая, что такой-то и такой-то – «троцкист», «брат его дружит с троцкистом» и т.п. Когда в конце 1938-го Коминтерн пригласил Вальтера в Москву, ему сказали следующее: «Вы всех называете фракционером, а ведь вы сами фракционер... Не исключено, что когда вы вернетесь, вы скажете, что имеете мандат возглавить компартию Югославии. Но в данное время никто такого мандата не имеет. А что касается вашей роли, мы можем через вас передать югославским товарищам резолюцию, из которой они узнают, какой, по нашему мнению, должна быть их тактика и стратегия».

Дмитрий Мануильский писал: «Уже известно, кто виновник провала испанской экспедиции добровольцев в черногорском прибрежье; им является Вальтер. И ему нельзя доверить никакую руководящую роль в компартии Югославии; он может работать только в низовой организации». Георгий Димитров с этим полностью согласился. Когда Броз уехал из Москвы, он обманул сперва югославских коммунистов в Париже, а затем в Югославии, будто Коминтерн доверил ему мандат сформировать новое руководство партии. Для коммунистов Югославии в то время директивы Коминтерна были неоспоримы – их выполняли беспрекословно. С помощью таких ухищрений Брозу удалось организовать в конце 1940 года так называемую пятую конференцию компартии в лесу недалеко от Загреба, где присутствовало несколько десятков делегатов почти из всех краев Югославии. Было избрано новое руководство – все под псевдонимами, но генерального секретаря никто не выбирал, ожидали решения Коминтерна. Такого решения не было. Лишь позже Брозу путем лжи и интриг удалось занять высший пост в партии. Скоро началась вторая мировая война, и после оккупации Югославии вспыхнули восстания и в Сербии, и в Черногории. Роль Броза в народно-освободительной борьбе в Югославии сильно преувеличена. Однако именно во время войны он безмерно возвысился, и это открыло ему путь к кровавому эксперименту над народом Югославии.

Кто первый восстал, историки еще точно не установили. Часть сербского народа считает, что это сделала группа королевских офицеров во главе с Дражей Михайловичем. Партизанское восстание в Сербии вспыхнуло в начале июля 1941 года. В конце 1941 года была попытка объединить оба восстания, таково было и желание Сталина. Велись переговоры, но они не дали результатов. Дело дошло до междоусобной борьбы. Относительно того, кто первый на кого напал, и сегодня между историками нет согласия. Момо Джурич, командир батальона, охранявшего верховный партизанский штаб, го-

ворил мне: «Я присутствовал на переговорах и знаю, что люди из окружения Дражи Михайловича сообщили Тито, что у них тоже есть люди, которые бы хотели прислушаться к совету Москвы. Мне казалось, что какую-то большую ошибку сделали мы – партизаны, что мы напали первыми. Но меня потом убедили, что это сделали четники». Джурич рассказал мне один эпизод, о котором никто не писал.

Однажды в Боснии, говорил он, пригласили меня Джилас, Ранкович и Кардель на прогулку. Я их никогда ни о чем не спрашивал. На какой-то лужайке Джилас предложил: «Давайте здесь остановимся и немного поговорим». Остановились, и Джилас начал: «Вопрос очень серьезный, надо что-то предпринять. До каких пор товарищ “Старый” (Тито) будет нас дурачить? Мы коллективно на заседаниях верховного штаба и представителей Центрального Комитета КПЮ выносим решения, а Старый потом всё поворачивает по-своему. На заседаниях он спрашивает в связи с обсуждаемым вопросом: “Что ты думаешь, что думает товарищ Бевец (Кардель), что товарищ Марко (Ранкович), что товарищ Црни (Жуёвич), что товарищ Джидо (Джилас)?” и т.д. А потом остается только приказ Старого, в котором не принято во внимание ни одно из наших предложений...» После слов Джиласа Кардель побледнел – не проронил ни слова. А Ранкович холодно посмотрел на Джиласа и резко сказал: «Друже Джидо! Не забудь, что Старого послала Россия и Коминтерн». После этих слов Ранковича все умолкли, никаких комментариев не было.

Рассказ Джурича убедительно отражает психологическую атмосферу того времени: то, что исходит от России и Коминтерна – свято. Этому надо подчиняться. Мне это напоминает реакцию старых кумушек (разных тётъ и соседей), когда случается несчастье: все плачут, и вдруг кто-то встает и произносит: «такая воля Божья».

А.Б. Кто отдал приказ об аресте коммунистов, друзей Советского Союза в 1948 году?

Й.С. Никакого приказа – юридического документа – не обнаружено, да его и не было. Была воля одного лица, вокруг которого был создан ореол всенародного обожествления и послушания, – Йосипа Броза. Когда на заседании политбюро КПЮ зачитали письмо Сталина и Молотова, Сретен Жуевич, выдающийся сербский коммунист, сразу высказался в том духе, что критику надо с благодарностью принять и постараться исправить ошибки. Жуевича поддержал Хебранг, а Броз сказал: «Товарищи, по-видимому, мы немного устали, перенесем заседание на завтра и продолжим дискуссию. Джилас вспоминает: «На завтрашнем заседании места, на которых сидели Жуевич и Хебранг, были пусты, и никто из членов политбюро не осмелился спросить, где эти два товарища. А они были ночью тайно арестованы; так Тито приказал Ранковичу». Ни на каком заседании политбюро и ЦК КПЮ не принимались решения об аресте или физической ликвидации коммунистов, в том числе руководящих. Ника-

ких решений по этим вопросам не было и на заседаниях правительства и других высоких госучреждений. Была только воля двоих – Тито и Ранковича. И эта воля без всяких оговорок была всемогущей, ей покорился весь народ.

До сих пор не найден (наверное, его и не существовало) юридический акт (решение!) о создании лагеря пыток на Голом Отоке. Это был первый лагерь в Югославии со времен Народно-освободительной войны. С его жестокостью несопоставимо ничто в истории балканских государств, даже во времена, когда Балканы находились под оккупацией разных агрессоров. Ничего подобного не встречается и в мировой истории, криминалистике, юриспруденции, в анналах инквизиции и палачества: чтобы люди одной крови, одного рода, одной идеи и идеологии, одного содружества, одной семьи так друг друга уничтожали, физически и духовно, травили последнюю искру души. Броз неистовствовал на совещании УДБы в 1949 г.: «Товарищи удбисты! Ударьте по их голове! Их надо истребить... Заставьте их пожирать друг друга...»

После этих слов, произнесенных на ответственном секретном совещании, офицеры и руководители всех УДБы уровней по тюрьмам и лагерям мучили и уничтожали людей с нарастающим остервенением. Под покровом ночи забирали тех, в отношении кого было хоть малейшее сомнение или на кого был донос, забирали не только в тюрьмы, но и вывозили к границам страны и там убивали, а потом распространяли информацию: там-то и там-то ликвидирована группа информбюровцев – врагов товарища Тито и партии. Кто первый дал идею создать лагерь Голый Оток? Мнения компетентных лиц совпадают: это мог сделать только Броз. Возможно, он имел советников, консультантов; некоторые считают, что ему помогал хорватский руководитель УДБы Иван Стево Краячич. Но главным исполнителем злодейских замыслов Броза, всех его преступных желаний был абсолютно преданный ему функционер – серб Александр Ранкович.

Публицист Владимир Дедиер, биограф Йосипа Броза, в течение многих лет украшал его жизнеописание многозвучными эпитетами о «стратегических талантах» вождя, был популяризатором Броза в мировом масштабе и помогал ему в «разоблачении» деятельности Коминформа. Но в сознании Дедиера в последние десятилетия его жизни произошла эволюция (возможно, он испытал и угрызения совести). Он сказал много правды о том страшном периоде, который раньше лакировал, золотил объемными поэтическими гиперболами. У позднего Дедиера есть и такие правдивые выводы: «Ни один царь, ни один фараон не любил такой роскоши и не располагал ею, как Йосип Броз, у которого на территории Югославии было 67 дворцов...» Огромные имения, виноградники, леса, охотничьи угодья, куда никто не смел приблизиться – там были только охранники и обслуживающий персонал. В некоторых из этих дворцов Броз даже никогда и не бывал. А ведь там могли бы отдыхать и поправлять здоровье десятки тысяч тружеников, но они об этом не смели и ду-

мать, никто не осмелился высказать такую идею. О Ранковиче Дедер заметил, что это «самый послушный пес на цепи Йосипа Броза». Есть интересная деталь. Когда речь шла об осуждении на смертную казнь, Броз говорил: «Леко, Ранкович, это ты подпиши». А если речь шла о помиловании – подписывал Броз. Учитывая то, что историки часто опираются лишь на письменные источники, у них найдется немало материалов, в которых Броз выглядит великодушным, мягким, могут найтись оправдания и в народной песне, где его величают «белой лилией»: «товарищ Тито заслужил, чтоб править всеми Балканами и частью Европы».

А.Б. Как осуществлялась титовская карательная педагогика? Были ли случаи коллективного сопротивления в лагерях?

Й.С. Помимо кирки и лопаты главными орудиями нашего труда были: трагач, лабуд, мина. Они же – орудия пытки. Трагач – носилки, на которых узники таскали камни. Можно безошибочно утверждать, что именно трагач сломал позвоночник коммунистическому движению в Югославии. Впереди трагач несет бойкотированный, на его стороне – большая часть груза. Он должен шагать быстро. Тот, кто сзади, кричит: «Быстрее, банда!» Его сменяют каждый час. Временами сзади двое и все они безжалостно гонят бойкотированного. Бойкотированному целыми днями не дают воды. Вечером его гонят сквозь строй, потом он должен дежурить у параши, а ночью еще и очередной допрос... Лабуд – большой трагач для сверхтяжелых грузов, его носят на плечах по восемь-двенадцать узников. Мина – огромный котел, который носят четыре, восемь и более человек. Всё было рассчитано так, чтобы максимально измучить человека. Когда заключенные возвращались с работ, их заставляли нести в лагерь громадный камень, а утром уносить его обратно, туда, откуда взяли. Однажды один македонец с улыбкой сказал: «Здесь, под этой миной, я ревизовал Карла Маркса». Вечером его слова дошли до старшины барака и его прогнали сквозь строй.

Расскажу один случай уже из московской жизни. Перо Попиво-да много общался со своими братьями; оба были офицерами, а потом узниками Голого Отока, больше года сидели в Петровой Яме. Перо как-то спросил: «Почему вы не давали отпор этим подлецам?» Но как одному человеку выступить против пяти тысяч? Старший брат Лазар ему отвечал: «Представь: тебя схватят и начнут избивать; падаешь, тебя поднимают «активисты» и держат, чтоб ты не упал, и так без конца, пока ты еще жив». Перо никак не мог взять в толк, насколько отчаянным было наше положение. Никто кроме переживших Голый Оток не может понять специфику титовской «педагогика». В зверинцах голодные звери иной раз нападают друг на друга. Но никто никогда не видел, чтоб тысячи зверей напали на одного. А на Голом Отоке это было в порядке вещей. Там человека ломали, убивали в нем способность сопротивляться.

Во всех известных тюрьмах и лагерях мира отмечены случаи коллективного сопротивления в разных формах (голодовка, общий громкий протест, отказ от работы и другие). На Голом Отоке коллективное сопротивление было всего один день, в первой группе узников (1400 человек). В тюрьмах Сараева опробовали и создали новую методику перевоспитания. Месяцами в тюремных камерах заключенных заставляли отречься от своих убеждений, чтобы они вернулись на «линию партии» и доказали, что готовы бороться против «врагов народа и партии». Тех, кто придерживался прежних убеждений, бросали в камеры, где находились узники, готовые «на деле доказать» свою приверженность партии. Там уже были приготовлены орудия пытки: палки, веревки, которыми связывали человеку и ноги и руки, превращая его в клубок боли. Связанному литрами вливали через нос грязную соленую воду (на циничном жаргоне палачей это называлось «топли зец» – «теплый заяц»). Прогоняли сквозь строй – это было обыденностью. Под пытками некоторые умирали, а многие со временем сами превращались в мучителей тех, кого следовало «перевоспитать». Пытками руководили специальные уполномоченные УДБы.

В первые дни в лагере на Голом Отоке заключенные уславливались, как себя вести, как требовать соблюдения своих прав. Но вот прибыли генерал Йово Капичич и другие представители высшего руководства УДБы. Начальник лагеря, полковник Яукович, собрал общий митинг узников. В выступлении Капичича были следующие слова: «Вы все наказаны двухлетним общественно-полезным трудом, но кто вернется на линию партии, кто проявит верность товарищу Тито, тот скоро возвратится в свои дома, а кто не согласится с мерами перевоспитания, тот останется на этих камнях не только на два года – он сложит здесь свои кости». Капичич вызвал нескольких известных революционеров на разговор в здание лагерного руководства. Среди них был и доктор Блажо Раичевич, который храбро держался перед королевской полицией и многие годы был узником королевских тюрем. Раичевич сказал: «Мы – политические заключенные и будем требовать права на переписку и встречи с семьями, требовать адвокатов, доступа к прессе и встреч с журналистами Югославии и стран народной демократии». В ответ прозвучала единственная фраза: «Ваши барачные коллективы покажут вам права». К возвращению приглашенных перед всеми бараками были построены узники. Тут и обнаружилось, что среди них есть активисты, готовые выполнять все приказы лагерного начальства. Активисты из боснийской группы начали избивать Раичевича, его били по голове палками и досками и забили насмерть. Было убито еще несколько человек, а десятки изувечены так, что не могли двигаться.

После этого кровавого погрома никаких групповых или коллективных протестов среди заключенных не было. Наступило общее смятение и раскол во всех бараках. Те, кто решил быть послушным, и активисты, подготовленные заранее, еще в пересыльных тюрьмах,

выкрикивали лозунги во славу Тито и Ранковича, пели посвященные им песни, выражая благодарность «великодушию товарища Тито» и «теплой материнской заботе славной УДБы». Среди узников была специальная группа внедренных сотрудников УДБы, позднее стало известно, что в ней было несколько сот лиц, специально обученных создавать условия для ломки непокорных. Они ловко провоцировали тех, кто хотел сохранить человеческое достоинство.

В югославской и мировой прессе много написано о специальном «рабочем самоуправлении» («заводы, фабрики – рабочим!») Встречаются тексты, где утверждается, что самоуправление было и в лагерях, а офицеры УДБы заявляют: «Мы не вмешивались, они сами между собой ссорились и били друг друга, порой и убивали, но заключенные знают, где их хоронили». Это ложь. Всем руководил аппарат УДБы, комендант лагеря и следователи; они назначали, кто будет старостой в бараке, кто его заместителем, кто руководителем рабочих групп, кто ответственным за “культурную работу“, за “гигиену“ и т.д. Ясно, что никакой культуры не было и в помине, не было и элементарной гигиены. Никто не видел куска мыла. Все назначения руководства барака были тайные, следователи вызывали людей и давали им указания. Если кто-то их не выполнял, его ждал жесточайший бойкот. Всем руководил «центр» лагеря, а центр выполнял приказы руководства УДБы. И прогоны сквозь строй, и ночные допросы в специальных каморках, выгороженных в бараках, – всё шло по расписанию УДБы. Следователю было известно о каждом всё до малейшего словечка, был создан тотальный античеловеческий режим слежки, тайного доноительства и провокаций.

Самых жестоких руководителей барачков официально объявляли «образцово перевоспитанными узниками, которые завтра станут полезными членами общества». Такие «ударники» получали признание начальства за свои зверства. Некоторые «историки» пишут, что в титовские лагеря были перенесены методы советского ГУЛАГа. Это безбожная ложь. Я беседовал с десятками советских людей, которые были в советских лагерях в 30-е, 40-е и 50-е годы. И ни один из них мне не сказал, что были какие-то систематические избиения или допросы в бараках, в самом лагере. Люди работали на разных участках, где бывало и тяжело и холодно, кто-то из уголовников мог ударить политического. Но НКВД это запрещало, виновника могли наказать более тяжелой работой. Во множестве книг о лагерях в Советском Союзе никто не упоминает никаких прогонов сквозь строй, никаких бесконечных лагерных следствий. Были случаи, что отдельного человека по запросу возвращали в тюрьму, где он находился раньше, если открывались какие-то новые сведения о его «антигосударственной деятельности», и только там велось следствие. Из советских лагерей люди вели переписку с семьями, они эпизодически получали и посылки. Порядок, аналогичный титовским застенкам, не зафиксирован в мировой истории лагерей и пыток.

В титовских лагерях ежедневно звучала самая гнусная клевета на все советское. Югославских борцов против фашизма, которых не могли сломить, одевали в карикатурные одежды советских маршалов, на грудь вешали таблички «здоровые силы Сталина». Привязывали их у входа в «жицу» (лагерь, многократно оплетенный колючей проволокой) и заставляли всех узников, когда они возвращались с работы, плевать в них и кричать: «Долой сталинских бандитов!» А если измученный узник не хотел плюнуть, приказывали прогнать его сквозь строй. Напрасно он твердил: «У меня пересохло во рту, мне было нечем плюнуть» Такое объяснение ревизирцы не принимали: «У тебя была возможность показать презрение к врагам народа, а ты этого не сделал».

Были индивидуальные акты героического сопротивления. Люди бросались в каменоломни – разбивались, ломали позвоночник; бросались со скал в море. Один узник отрезал себе руку циркулярной пилой – этого требовала его совесть, он сказал себе: «Моя рука не будет обогрета кровью новой группы мучеников». Люди толки обломки стекла, мельчайшие частицы заворачивали в бумагу вместе с цементом и глотали такие шарики, зная, что это – верная смерть. Мучительная была смерть, часами стоял ужасающий крик – стекло разрезало желудок и кишки. Это были не трусы, а герои – они шли на смерть, чтобы спасти друзей. Ведь под пытками, когда человек теряет сознание, может случиться, что он раскроет, кому доверял свои сокровенные думы... При таких раскрытиях в геометрической прогрессии росло число людей, которым грозил арест.

А.Б. Говорят, некоторые черногорцы поминают генерала Капичича добрым словом. Есть ли для этого основания?

Й.С. Капичич, один из верховных командиров УДБы, был сыном профессора богословия. Я уверен, его честные родители и под землей покраснели бы от стыда, если б знали, чем их сын занимался после 1948 года. Броз вырвал у него душу и поручил ему самую унижительную работу – формировать лагеря и внедрять директиву тотального уничтожения. Потоки слез и крови залили землю, по которой ходили убийцы, подчиненные Капичичу. А сегодня он свободно рассказывает по Белграду, по улицам родного Цетинье, давней и славной столицы, и новой столицы Черногории – Подгорицы. Без стыда и покаяния. Его холодная и озлобленная душа еще жаждет невинной крови. В свое время он был заметной фигурой в первых пролетарских бригадах партизан. Но Капичич забыл прошлое, его ум затуманен и помрачен. Его лакейство перед Брозом и Ранковичем – тяжелая каменная плита – задавило в нем последнюю искру черногорского достоинства. Сегодня он одобряет агрессию НАТО, жалеет, что она не случилась раньше, признает нелегитимную структуру – Гаагский трибунал. Для него навсегда похоронен марксизм и вся

коммунистическая идеология. Капичич был необузданным активистом титоизма – таким и остался.

Недавно он все же признал: «мы убивали невинных и бросали их в ямы». Может быть, на исходе жизни он вспомнит этих людей, брошенных в ямы с известью. Черногория, если она и дальше думает сохранить свое имя (которое гордо носила веками), должна узнать, где титовские палачи спрятали кости генерал-полковника Арсо Йовановича, куда брошены убитые Андрия Хебранг, Драгиша Васич и сотни других. Капичич знает, но открыто говорит: «Если и знаю, не скажу». Тысячи фактов подтверждают, что он преступник, причем в международном масштабе. Он сам признает, что уничтожил подполковника Велишу Лековича через свою шпионскую связь в албанском аппарате госбезопасности, подбросив сведения о том, что Лекович не политическим эмигрант, а заслан по заданию УДБы. Ту же трагическую судьбу разделили десятки, а возможно, и сотни честных людей в разных странах. Были ликвидированы Кочи Додзе в Албании, Ласло Райк в Венгрии, Трайчо Костов в Болгарии, Рудольф Сланский в Чехословакии. Целью аппарата Ранковича и Тито было обескровить спецслужбы стран народной демократии, выгрызть сердцевину их систем права и безопасности. Границы Югославии стали кладбищами, полными костей тех, кого агенты УДБы забирали по ночам и без следствия и суда там убивали. Эту «географию» Капичич хорошо знает и, может статься, расскажет о ней прежде, чем «покается перед Господом».

А.Б. Были ли судебные разбирательства против организаторов и исполнителей преступлений в титовских лагерях «перевоспитания»?

Й.С. Титовцы ни перед кем не отвечали за свои преступления. Люди жили в таком рабстве и безнадежности, каких не знала история. Людские души были замурованы в ледниках страха, людей заставляли забыть все зло и погибель. Никаких судебных разбирательств против УДБы по сей день не было. Во многих местах и сегодня власть в руках титовцев. Немало тех, кто ложью маскировал преступную действительность и на этом заработал научные звания и титулы. Истинная картина минувшей эпохи еще не раскрыта. Приведу один пример. Был круглый стол в Черногорской академии наук на тему: освещение в историографии Голого Отока и других лагерей. Выступали десятки ученых. Звучали, например, такие вопросы: «Как обстояло дело с гигиеной? Было ли доступно мыло? Какое было медицинское обслуживание?» И много похожих вопросов. Хотя все могли всё узнать из книг революционера и ученого Мирко Марковича, который писал: «В течение четырех лет адского существования в Петровой Яме (“объект 101“) ни разу не было возможности вымыть руки или лицо». Зато осенний и зимний дождь на каторжной работе в каменоломне «умывал» узников до костей.

За круглым столом прозвучали слова одного академика: «Перед памятью множества людей, которые были подвергнуты пыткам, а многие не пережили эти пытки, надо склониться с глубоким уважением, с искренней верой, с оптимистической надеждой, что подобные злодеяния никогда и нигде не повторятся». Однако далее уважаемый академик подчеркнул: «...На этом собрании не надо упоминать имена, устраивать переключку последователей сатаны. Не надо подсудимых разделять на виновных и невиновных. Не надо требовать ревизии процесса и реабилитации бывших сотрудников лагерей, ибо некоторые из них – жертвы партийной индоктринации и железной полицейской дисциплины... Жесточайшим обращением с информбюровцами они подтверждали свою партийность и верность Родине. Не надо вызывать злых духов прошлого».

Некоторые даже предполагают, что объективную научную оценку могут дать только люди, которые родились и выросли после тех событий. Каково намерение этих ученых: делают ли они это во имя научной объективности, во имя «согласия народа»? Я считаю, что такие предложения абсурдны. Подобные преступления не имеют срока давности для науки и юриспруденции. Не надо бояться «субъективности» современников, хотя раны еще не зарубцевались. О какой науке и объективности может идти речь, если не упоминать имён ни жертв, ни палачей? Некоторые бывшие титовские генералы – международные преступники. В их подчинении были лагеря и тюрьмы на всей территории Югославии. Они определяли «методику» перевоспитания и возвращения узников на «титовский путь». А потом свободно, без всякого стыда гуляли по Белграду, Подгорице, возможно, и по другим столицам бывших югославских республик. Эти генералы имели звания народных героев – будто бы за военные заслуги, а фактически – за уничтожение югославских патриотов. А настоящих героев, получивших известность во время войны или сразу после нее (Сава Станоевич и другие) замучили в лагерях – на Голлом Отоке, Святом Гргуре, в Угляне, Градишке, Билече. В списках героев Югославии более тридцати имен генералов и руководителей УДБы, которые были министрами внутренних дел союзных республик, начальниками лагерей, следователями в лагерях, известных страшными преступлениями. Все подручные Ранковича стали героями. Не будем перечислять все имена – народ знает их: Йоксимович, Шашич, Раштегорац... На их погоны с 1949 по 1955 год в буквальном смысле слетали кровавые созвездия.

Есть титовские генералы, которые поддерживали сепаратизм и агрессивный национализм во имя «независимости», «национальной целостности» и «новой демократии». Они приветствовали подлейшего агрессора – НАТО, которое разбомбило Югославию, и «цивилизованный» новый мировой порядок – ту мировую силу, которая стремится любыми средствами, под предлогом защиты «человеческих прав», «свободы личности», «свободы выборов» и «свободы творчества» завоевать мировое господство.

Логично спросить: «Где голос народа?» Бывают исторические периоды, когда дивная, святая вера и воля народа замерзает, цепенеет. После возвращения с Голого Отока (был списан, как безнадежно больной), я пытался некоторым достойным, благородным людям наедине рассказать хоть о частице пережитого ужаса. Эти люди были моими родственниками по линии отца и матери, и все отвечали мне одно и то же: «Молчи, несчастный. Сейчас об этом говорить нельзя». А я всё жил романтическими представлениями негошевской поэзии о вечном героизме черногорского народа. Но у Негоша есть и такая строка: «Уже людские груди охладели, в них умерла свобода».

Никто из выживших не смел упомянуть название острова смерти. А ведь народ знал, что УДБа убивает людей. Весь уездный комитет партии Белого Поля – около двадцати человек – был расстрелян, многие на пороге своих жилищ, на глазах детей и матерей. Недалеко от города Беране были зверски убиты знаменитые молодежные вожаки, непокорные титовской линии, – Зекич и Попович. Людей заставляли пинать их, мертвых, ногами, а брата Новака Зекича, ученика гимназии, потащили в хоровод, который пел песню во славу УДБы. Ученик Зекича еле вырвался из хоровода, но его поймали и отправили на Голый Оток вместе с младшим братом, которого там убили, то ли прогнав сквозь строй, то ли бросив в море. Тысячи черногорцев были арестованы после 1948 года. И никто не вышел к государственным учреждениям в знак протеста. Много лет спустя крупные деятели титовских правящих структур заявляли, что ничего не знали о Голем Отоке и других лагерях.

Идет ли речь о деградации народа, убийстве его духа, о сломе достоинства? Об этом скажет следующий факт: когда в 1954 году вышел указ о сокращении поголовья коз, десятки групп черногорцев ходили к президенту Йовановичу с петициями: «Дорогой Блажо! Спасите! Без козьего молока нам детей не поднять». Когда уничтожают сотни людей, народ молчит. А когда запрещают иметь козу, слышим народные вопли. Комментарии излишни. Один мой знакомый сказал: «Революционная ситуация в Черногории была только в дни уничтожения коз». Звучит смешно, но такая деталь – свидетельство черногорской атмосферы в 50-е годы. Другой знакомый сказал: «Народ начал жить по закону дервиша...» Что значит – вертеться по ветру. Так ломаются в эпоху беззакония доверие, солидарность, все национальные устои. Есть простонародное изречение: «Все решает судьба». Горькая истина звучит более точно – все решает УДБа!

Многие функционеры режима не смели знать. Не смели и думать, что случилось с их бывшими боевыми друзьями, бывшими помощниками и руководителями, где они и живы ли. Они осознавали, что от таких вопросов не сносить им головы. Страх заполнял все их дни. Лакейство перед Тито и Ранковичем превратило их в жалких пигмеев. Из эгоизма и прислужничества не вырастают личности, лишь умножаются ползучие существа. Они не видят цвета крови, славят свое рабство, гордятся цепями, насилием и позором, тем, что

превратили буревестников свободы в мелких шпионов, клеветников и помощников палачей. Многие годы страх мерцал в воздухе и нарастал с приближением ночи. А ночи часто орошали мрак кровью. Моральная эрозия стала национальной катастрофой. Люди исчезали с каждой улицы любого населенного пункта, и никто не отваживался это обсуждать – даже родственники. Десятилетиями честный человек не был уверен: друг пришел к нему или провокатор. В 1966 году Ранковича убрали с вершины власти. На пленуме ЦК КПЮ разоблачали его бюрократизм, упоминали, что его служба внедрила подслушивающие аппараты даже в спальню президента Тито. Но сам Тито на пленуме сказал: «Мы не забудем больших заслуг товарища Ранковича в борьбе против Коминформа и коминформовцев...» А это значило, что продолжается террор против коммунистов. На пленуме прозвучало, что в маленькой Югославии накопились миллионы доносов, что каждый третий взрослый житель был под подозрением.

Началось сжигание досье в Белграде и разных республиканских центрах. Это был очередной обман – дымом они затуманивали глаза народу. Даже в 70-е годы были арестованы многие знаменитые революционеры, в том числе те, кто пережил голгофу Голого Отока. Тайные спецотряды УДБы похищали югославских коммунистов, которые законно проживали в других странах. Известен случай героя партизанской войны – Владо Дапчевича, похищенного в 1975 году в Бухаресте; его друзей Александра Опоевича и Джордже Стояновича умертвили и бросили без документов в кукурузном поле на югославской территории рядом с румынской границей. Дапчевича через год приговорили к смерти за то, что он якобы «планировал диверсионные операции». Потом заменили смертный приговор двадцатью годами тюрьмы. В 1977 году в Швейцарии схватили Милету Перовича, который на подпольном съезде югославских коммунистов был избран генеральным секретарем ЦК обновленной КПЮ; за огромные деньги это сделали иностранные спецслужбы – мастера по краже людей. Перович был полумертвым брошен на территории Словении, рядом с итальянской границей. Его судили, как и Дапчевича. А однажды УДБа инсценировала приглашение от доверенного лица Перовича: в Швейцарию из Советского Союза вызывали генерала Перо Попиводу, писателя Йоле Станишича, из Болгарии поэта Венко Мерковскогo, героя Македонии и Болгарии. Мы якобы были приглашены на подпольный пленум ЦК КПЮ. Он не мог состояться при полицейском режиме Югославии, выбрана «безопасная, свободная и независимая Швейцария». Живого голоса Милеты в этом тексте не услышали ни я, ни Мерковский. Мы знали особые шифры Перовича, которых не мог знать никто другой, и план УДБы провалился. Они жалеют и сегодня, что нас тогда не поймали. Один из них недавно исповедался моему родственнику: «У меня было задание ликвидировать Йоле в Ленинграде, но мне не удалось его найти. Задание не было выполнено, и я был наказан секретным отделом УДБы».

А.Б. Виделись ли вы в тюрьме Главняча с вашими арестованными товарищами и бывали ли очные ставки перед следователями?

Й.С. Меня, как и многих из них, арестовали в день семидесятилетия Сталина. В тюрьме мы друг друга не видели, были разбросаны по одиночным и общим камерам. Назвать тех, кто нас избивал до полусмерти, следователями – большой комплимент для них. Они соревновались, кто больше пустит крови, тюрьму превратили в бойню. Из Главнячи нас увезли в закрытых темных вагонах, где был рассыпан цемент и заметны следы крови. На Голом Отоке мы были в разных бараках, старались друг с другом не встречаться и не разговаривать (хотя абсолютно верили друг другу). Если бы мы встречались, тут же появились бы доносчики, которые бы сказали: «Эти на свободе действовали в интересах СССР и сейчас о чем-то договариваются». Снова начались бы допросы с участием старшин барачков, которые в своём зверстве старались превзойти инструкторов УДБы. Максимум, что было возможно, – при случайной встрече незаметно кивнуть друг другу. Из нашей группы под бойкотом были трое. Йована Чепича освободили от бойкота через неделю, а я и Милорад Боич оставались два месяца под тяжелым бойкотом. Возможно, бойкот продлили нам за то, что мы ничего не сообщили официальному следователю, а это толковалось следующими словами: «Он на вражеских позициях, игнорирует УДБу – наших спасителей...»

А.Б. Почему в своем стихотворении вы назвали «Пунат» «пиратским кораблем»?

Й.С. Этот был корабль УДБы. Необходимо было, чтоб прозвучало название корабля: многие там пережили минуты смертельной опасности. Каждый, кто был брошен в его трюм, испытал смертельный страх. Грузовой корабль «Пунат» – самый кровавый корабль в истории югославского мореплавания. Многие годы на нем перевозили узников на Голый Оток, на острова Святой Гргур и Углян. В трюме были построены боксы в несколько этажей. В нем помещалось до 1500 узников, все были связаны по двое; многие были убиты, задавлены на дне корабля.

27 июля 1950 года на Голый Оток привезли новую (пятую) группу, и каждый барак, в том числе наш, пополнился почти сотней новых узников. Все они были в крови и синяках. Их избивали на корабле, а многие были там же и убиты. Специальная карательная команда ревизирцев из так называемой рабочей бригады под пение маршевых песен во славу Тито вытаскивала их из трюма, охаживая дубинками. Им помогали милиционеры, тяжелыми сапогами целя в голени, а на пристани презрением и пинками встречала «элитная» группа следователей. Особенно доставалось тем, в ком узнавали бывших партийных и военных руководителей. От пристани до входа в лагерь далеко, и вдоль всего пути строем стояли несколько тысяч

узников. Каждый принужден был участвовать в избиении новой группы. Если под градом ударов кто-нибудь падал от бессилия и боли, его топтали, пинками заставляли подняться, а тех, кто уже не мог идти, куда-то оттаскивали на носилках. Вновь прибывших надо было запугать. Перед баракком какие-то человекоподобные существа орала: «Долой предателей! Кто не поддерживает товарища Тито, того убьем!». Несчастные с ужасом смотрели на «старожилов», которые своим видом не напоминали даже пещерных людей.

После полудня перед баракком началось «политзанятие». Староста Стипе говорит: «К нам прибыла новая банда, которой мы должны помочь встать на путь истинный, но и среди старожилов, оказывается, есть враги, которые не оценили великодушия партии. Сейчас мы покажем, что ждет каждого, кто не даст новых показаний и не раскроет всех сообщников, вместе с которыми совершал враждебные действия на свободных просторах нашей родины. Быстро строиться!» В двух шеренгах больше двухсот человек. Староста вызывает: «Олуич! Сюда!». Выходит высокий мужчина, и Стипе начинает его избивать. «Ты в молодости был усташем, а сейчас ты неисправимый информбюровец...» Олуич дрожащим голосом отвечает: «В дни моей молодости – это было давно, почти сорок лет назад, тогда это была патриотическая организация...» «А, видите, какой бандит. Усташей называет патриотами! Сквозь строй его!» И начинается прогон сквозь строй. Олуича избивают даже те, кто раньше ни на кого не поднимал руку. Даже честнейшие люди думают: «Нет греха в том, что ударишь усташа...» У избиваемого Олуича изо рта хлещет кровь. И вот он уже труп. Затем вызывают одного македонца небольшого роста. О нем староста говорит: «Этот бандит во время войны выдал болгарским фашистам двенадцать македонских патриотов, а потом хотел прикрыться тем, что он информбюровец». «Коллектив» барака 12 и этого, как Олуича, забивает до смерти.

УДБа проверенной методой травила людей, чтоб их поскорее уничтожить и других настроить на активное участие в уничтожении. У нас появились «двумоторцы» – люди, которые были освобождены как «перевоспитанные», но попали в лагерь на второй срок. Староста вопит: «Михаило Бакич и Милован Томич прибыли на Гольый Оток с первой группой, ровно год назад, и они подло обманули партию, заверив коллектив исследователей, что поддерживают всё то, к чему нас призывает мудрейший вождь и любимец народа – товарищ Тито...» Среди узников слышны восклицания: «Смерть обманщикам! Двумоторцев сквозь строй!» Бакич и Томич полгода были под бойкотом. Каждый день их несколько раз прогоняли их сквозь барачный строй. Томич был без ноги. Выдержал все четыре года тяжелой партизанской борьбы, был храбрым бойцом и честнейшим человеком. Когда ревизоры перед строем били его по лицу и кричали: «Сгибай шею!», он после каждого удара гордо поднимал голову. В его глазах сияла гордость и презрение к тем, кто его избивает.



Друзья, арестованные в одну ночь: Гойко Гойкович, Йоле Станишич, Милорад Боич (верхний ряд); Мишо Миркович, Йован Чепич, Любомир Томович, Свето Пулевич, Вукашин Оташевич (1949). Все прошли через Голый остров

За что он был вторично брошен на Голый Оток? Спокойно сидел в кафе в Белграде. Подошел знакомый и спросил: «Как ты сейчас думаешь?» Он знал, что вопрос провокационный, и ответил в духе официальной линии, показав рукой на большую фотографию Тито: «Думаю, точно так же, как он». Провокатор уточняет: «Кто – он?» – «Тот, что висит на стене». Глагол «висит» белградские следователи УДБы истолковали так: «Каждому ясно, что у него есть намерение повесить товарища Тито. Это коварный враг, злейший, закоренелый инфорбюровец...» Напрасно Томич объяснял, что портрет висит на гвоздике и у него не было никакого другого намерения, кроме как показать, где находится портрет. Напрасно Томич и перед «коллективом» барака оправдывался, что у него никогда не было планов вешать кого-либо из живых существ. Его стократно избивали и прогоняли сквозь строй, но все это было легче выдержать, чем те мучения, которым подвергся «двумоторец» Бакич.

Томичу дали работу: дробить камень камнем на камне. Когда получалась маленькая куча раздробленных камней, ревидирцы тянули его за усы и били по лицу: «Почему дробилка раздробила в десять раз больше, чем ты?» Когда шел дождь, ревидирцы сажали его возле стены – туда, где струя воды из водостока ударяла прямо в лоб. С той же пятой группой, что и Томича, на Голый Оток бросили доктора Милована Четковича, знаменитого революционера, члена компартии с 1919 года, бойца республиканской Испании. Четкович от постоянных избиений и работы «под трагачем» не мог двигаться. Его посадили возле Томича дробить камень. Бойкотированным было запрещено разговаривать друг с другом. Однажды, чтоб ревидирцы не заметили, Четкович, протирая нос, шепотом спросил сидящего рядом: «Что случилось, что тебя без ноги бросили сюда вторично?» Томич тихо ответил: «Ты виноват, доктор». Четкович глубоко задумался и чуть не обиделся на такой ответ, но все-таки спросил: «Как твоя фамилия?» «Томич» – был краткий ответ. «Может быть, ты сын Николы Томича?» – «Да, я его сын». Доктор вспомнил, что в начале 30-х годов к нему привезли юношу, которого укусила змея. И он откровенно сказал родителям: «Юноша, к сожалению, умирает. Можно попробовать отрезать ему ногу, но не гарантирую, что это его спасет». Никола Томич ответил: «Доктор, попробуйте. Если он умирает, мне та же боль – хоронить его с одной ногой или с двумя». На Голем Отоке Четкович благословил ту ядовитую змею: «Зуби јој се златили! – Да будут её зубы позолочены. Она тебя спасла от трагача». Этим «благословением» все сказано.

Доктора Четковича потом перебросили из общего лагеря в Петрову Рупу и так избивали, что голова у него постоянно была опухшей и обе барабанные перепонки потрескались, так что он уже никогда потом не мог использовать стетоскоп, чтобы обследовать больного. Милета Перович в «яме 101» спросил доктора Четковича: «Что скажет медицина – сколько можно выдержать эти мучения?» – «Ми-

ровая медицина эту границу давно определила, и у нас эта граница давно позади. Я каждый день удивляюсь, как мы еще дышим».

Хочу напомнить и о страшной судьбе священника Нехлюдова, которого УДБа планировала на суде разоблачить как агента НКВД. В тюрьме Главняча, где с 21 декабря 1949 года томился и я, все мы запомнили маленького офицера Зульфо. Он надзирал и за одиночными, и за общими камерами и по приказу следователей конвоировал заключенных до следственной канцелярии, где происходили допросы и пытки. Очень часто этот Зульфо пускал в ход кулаки. И вот что еще было на его совести.

Об этом рассказал мне бывший майор УДБы Веселин Попович. Одно время он был следователем в Главняче, потом его назначили начальником женского лагеря. В этом лагере были сотни заключенных, их называли агентами НКВД, а большинство из них и не знало, что такое НКВД. Попович в этом лагере завел нормальный порядок, запретил избиения и допросы, улучшил условия работы и питания и даже устроил какие-то художественные кружки, культурные мероприятия, так что женщины-узницы видели в нем спасителя. Но дамы – помощницы Веселина, представительницы верховной УДБы – начали тайно писать доносы Ранковичу, что Попович защищает информбюровок, что он их единомышленник. Из Белграда днем отправилась группа высших офицеров УДБы, чтоб его арестовать. А он, предчувствуя опасность, еще утром с двумя милиционерами отправился на охоту на берег Дуная. У них был маленький катер. На Дунае Попович обратился к милиционерам: «Дайте посмотрю, какое у вас оружие». Они подчинились командиру, а он, обезоружив их, одному приказал лечь на дно, а второму: «Вези на тот берег, иначе застрелю!» Так Веселин Попович оказался на румынском берегу.

В 1960 году в Бухаресте он сообщил мне: «Следователи в Главняче приказали Зульфо привести Нехлюдова в канцелярию. Зульфо за несколько дней до этого изуродовал священника, вырвал у него полбороды, оставил какие-то клочки на одной стороне лица, превратил человека в страшилище. Следователи хотели проинструктировать, подготовить священника к показательному процессу, который должен был состояться через несколько дней, но, увидев его, не поняли, кто перед ними. Спрашивают: «Кто вы? Как вас зовут?» Он отвечал: «Я – священник Нехлюдов...» Следователи удалились на совещание и пришли к выводу, что этого «агента НКВД» нельзя показывать журналистам. Позвали Зульфо и приказали: «Ты его так разукрасил, так доведи работу до конца». Зульфо увел Нехлюдова, повесил или задушил его, а в прессе появилась статья, что один из главных обвиняемых умер в тюрьме от такой-то и такой-то болезни». По словам Поповича, это было обыденной практикой в судопроизводстве Ранковича.

А.Б. Как вам удалось вырваться из лагерного ада?

И.С. Климат «помог». Лето на Голом Отоке было страшным: невыносимая жара, бесконечная жажда. Воду привозили в цистернах. Бойкотированным не давали ни капли, а другим, членам «коллектива», давали по одной, максимум по две небольших кружки. Зима была тяжелейшая: с ранней осени дули холодные, влажные ветры. Это называлось «сеньская буря». Между городком Сень и островами небольшое расстояние. В народе, там проживающем, это называется – «Сеньские ворота»: ветер раскрывал эти ворота и дул в пекло. Такие верования у людей, исконно живущих в этих краях. С нами, среди узников, было немало людей оттуда, и они временами рассказывали об истории и жизни этих краев. Мы были плохо одеты, и сеньская буря пронизывала нас до костей. Казалось, она обстругивает нам кости. От холода лязгали зубы у тех, у кого они не были выбиты ударами ревидирцев.

Лагерь опустошали эпидемии. Всяких болезней хватало, даже таких, о которых медицина мало знает. Большинство страдало куриной слепотой. Часты были воспаления легких, гнойные плевриты, туберкулез. Никаких лекарств не давали, но при высокой температуре помещали в больничный барак. В лагере несколько раз буйствовала дизентерия. Люди падали на работе, некоторые там и умирали. Зимой 1951 начался тиф. Эта болезнь в течение двух недель унесла жизнь сотен заключенных. Тогда часть наших лохмотьев сожгли и всем узникам побрили все волосы на теле. Это называлось «серьезной медицинской заботой».

Я пережил три воспаления легких. Последнее перешло в левосторонний экссудативный плеврит, выпот заполнил всё до горла. Одно время мне казалось, что жизнь кончается. Я с этим плевритом провел в больничном бараке три месяца и, как безнадежно больной, с группой больных и старых инвалидов был отпущен на свободу. В Белграде меня сразу поместили в больницу, пролежал больше двух месяцев. Мне казалось, что там райские условия: только один больной кроме меня в палате, чистейшие постели, умывальник, зеркало, прекрасное питание, все то, что человек в лагере почти забыл. Врачи поражались, как я запустил такое заболевание. Спрашивали, где я его заработал. Я сказал, что заболел на одной молодежной стройке и надеялся, что всё само пройдет, когда отдохну... Я не смел сказать врачам, что вернулся из адского лагеря (думал: если скажу, меня вышвырнут из больницы). Врачи предлагали сделать пункцию, но сосед убедил меня, что после пункции у него в легких снова скапливается жидкость. Я отказался от пункции, наверное, зря, меня выписали из больницы, и я отправился к родным в Черногорию. Маме не рассказывал, что болен, но она чувствовала, что во мне нет прежней бодрости; лучшими продуктами меня кормили, хотя мне бы и сухой хлеб был сладок. Внешне я быстро поправился – хорошо выглядел, но в прежнюю силу никогда больше не вошел.

В больничном бараке умерло много людей. В одну ночь в том ряду, где я был крайним, умерло семь человек. Рядом со мной был

юрист из Белграда, Палевич. Я ему сказал испуганно: «Палевич, очередь за нами...». Но смерть остановилась, и я до сих пор жив. И буду жить. Плевра левого легкого после того плеврита приросла и при всякой перемене погоды побаливает. Чего только я ни навидался в том бараке – всё черные воспоминания. К одному узнику из Боснии пришел в апреле 1951 года старшина его барака и сказал: «Твой брат умер. Вот тебе бумага, ты извести мать об этом». Старшина подождал, пока больной напишет, взял бумагу и вслух прочел: «Дорогая мать! Наш Брацо заболел. Мать – Партия все сделала, чтобы спасти его жизнь, но тяжелую болезнь он не победил». Старшина остался доволен содержанием письма и сказал: «Мы немедленно отправим письмо матери». Через четыре дня и сам тот босниец умер. Старшина больше не появлялся. Но известие о смерти второго сына, мать, наверное, тоже получила. Может быть, и в этом известии были слова благодарности «славной партии».

Помню еще случай. Привели в больницу очень высокого ростом человека, Нинковича из Требиня. Он был членом требиньского комитета партии. Дежурный протянул ему железную баночку: «Плюй сегодня ночью в эту баночку, завтра передадут на анализ». Утром пришли дежурные, он им говорит: «Я харкал кровью». Дежурные посмотрели баночку – ничего там не увидели и стали на него кричать: «Ты симулируешь, никакой крови там нет». Нинкович возмущенно, еле слышным голосом сказал: «Клянусь честью, была кровь, даже много. Значит, ее украли». Дали ему пару оплеух и сказали: «Нам твоя честь не нужна». Назавтра Нинковича нашли мертвым. Явно кто-то из больных украл его кровавую мокроту. В этом плевке под микроскопом найдут палочку Коха, и другой человек получит статус «больного открытым туберкулезом»: среди туберкулезников ему будет лучше, чем под трагачем.

А.Б. В нечеловеческих условиях искажены все людские взаимоотношения. И всё же – вы подружились с кем-нибудь из узников на Голом Отоке?

И.С. Дружба была, но без слов. Человек, живя в бараке бок о бок с другими, много узнаёт о них, видит их на работе – тут точно знаешь, кто достоин уважения и будущей дружбы. Была ли возможна дружба с незнакомым на Голом Отоке? События моей жизни ответят без слов. Милована Томича я до Голого Отока никогда не видел и никогда там словом с ним не перемолвился. Но навсегда запомнил его мужество. Когда увидел его через два года в Белграде и заговорил с ним, я убедился, что беседую со своей душой, с моим двойником в моей душе. Проходили годы и события, и когда я решил погибнуть на Дунае в знак протеста против титовской тирании, я взял Милована Томича с собой и мы вместе прыгнули в Дунай, но providение нас спасло – мы попали на румынский берег. Помню маленький диалог: «Миловане, мы остались живы, мы сейчас в со-

циалистической стране и будем приближаться к России». «Нечего нам от России ожидать, пока Никита во главе; или погибнет он, или большевистская партия» – сказал Милован. Я верил, что большевистская партия не погибнет, но вышло иначе – Никита эту славную партию толкнул в позорную трясиину.

В стихотворении «Голос убитых» жертвы спрашивают со дна моря: «Кто плывет над нами, кто обнимается с нашим палачом?». А с ладоней палача поднимается ввысь голубь мира. В моей первой книге на русском языке «Упрямые скалы» (1966) поэт Глеб Пагирев, который редактировал книгу (он потерял на войне ногу и руку, но сохранил оптимизм и работоспособность), прочитав стихотворение «Голос убитых», задумчиво сказал: «Я вижу в нем, как обнимаются Тито и Хрущев». Он посмотрел мне в глаза, и я спокойно ответил: «Поэты редко комментируют свои стихи, это лучше сделают критики и читатели». Никаких других слов об этом стихотворении я от редактора не услышал. Оно десяток раз печаталось в советской прессе. Сегодня должен сказать правду: я в нем действительно осудил позорные объятия Хрущева с Тито, который все годы своего правления топтал нашу кровь, перешагивая через трупы тысяч югославских коммунистов. Хрущев нашу кровь не заметил. Один из генералов, которые сопровождали в садах на Бриони Тито и Хрущева, позднее рассказывал, что слышал слова Хрущева, обращенные к Тито: «Сторонников Сталина не грех уничтожать».

В России давно, начиная с правления Хрущева, началось приукрашивание, золочение титовского «особого пути». Каждый визит Йосипа Броза в Советский Союз был расцвечен панегириками, и с каждым разом в них было все больше пафоса и показного блеска. Броза называли «ленинцем», звучали фразы вроде: «Октябрьская революция дала ряд революционеров и деятелей международного рабочего движения мирового масштаба»; среди них числили и Броза. Однако он вовсе не был участником Октябрьской революции, ни одного дня не сражался на стороне красных, остался верен австро-венгерской армаде. Он вернулся в Югославию в конце 1920 года с группой немцев и австрийцев, которые не желали пустить корни в «новой действительности» и участвовать в построении справедливой жизни в России. Тем не менее, подобные мифы повторяются и в наши дни – когда ускоренным темпом буйствует контрреволюция.

А.Б. 12 сентября 1958 года вы прыгнули в Дунай с борта корабля «Сплит» и стали политическим эмигрантом. Начался совершенно новый этап вашей жизни.

Й.С. После этого прыжка я кое-что создал (возможно, меньше, чем хотел). Я узнал другие народы, другой мир, но свой народ, родной край никогда не забывал: они были со мной и в снах, и в мечтах. Независимо от того, какие меридианы я пересекал, линия моей молодости не менялась, родина оставалась путеводной звездой. Я ос-

тался без родных, без многих друзей, но идейных братьев на планете много. Их не истребит никакая тирания и не унесет их никакое политическое цунами. Я прыгнул в холодный и широкий Дунай, и, учитывая, что я никогда не умел плавать, удивительно, что остался жив. Ведь я прыгнул, чтоб живым не сдаться врагу. А Дунай меня не проглотил. Его холод словно окрылил меня. Дунай течет и дальше по своему руслу, не пересыхает, не выходит из своих исконных границ.

Изначально план нашей группы был – захватить корабль. Прежде, в двух туристических поездках по Дунаю, я познакомился с капитаном корабля «Сплит». Он мне рассказывал о подводных скалах в Джердапском ущелье, которые грозят кораблям гибелью, если капитан не овладел мастерством и не изучил нрав Дуная. Я сказал, что хочу с его помощью, как журналист, написать несколько очерков о Дунае. В ту незабываемую ночь нас оказалось наполовину меньше, чем предполагалось. Из тех шестерых, кто должен был сесть на корабль в Смедерове, пришли только двое. Так и осталось тайной: побоялись в последнюю минуту, или опоздали, или по неосторожности наивно доверились кому-то из близких? Ночью я постучал в каюту капитана, а там оказался незнакомый человек. Он меня спросил: «Что вы хотите?» – «Я думал поговорить с капитаном». – «Я капитан». А когда я произнес имя своего знакомого, он с улыбкой ответил: «Это мой коллега, мы друг друга подменяем; он уехал на море, будет дней через двадцать». Я объяснил, что пишу репортаж о путешествии. «Давайте поговорим завтра: утро вечера мудренее». Всю ночь я провел на палубе, смотрел в небо. Оно было прекрасно, как в детстве, когда я любовался на него в родных горах. Но мой восторг пронзала мысль: «Не последняя ли это ночь в моей жизни?». Я отвязал спасательный круг, чтоб в критическую секунду можно было его сорвать. Утро было солнечное, мы шли возле румынских берегов, и они казались мне позолоченными, хотя на самом деле это пространство ничем не отличалось от югославского берега. Но это же была территория социалистического государства, а не царство страха и рабства, как титовская Югославия.

Возле какой-то маленькой, почти незаметной пристани на югославской стороне корабль ожидали человек восемьдесят солдат и офицеров, а рядом с ними будто гуляли шестеро молодых людей с тоненькими папками под мышкой. Я тихо спросил Милована: «На кого они, по-твоему, похожи?» Он мгновенно ответил: «Это оперативники УДБы. Я узнаю их по стрижке, по походке, по холодному пронизательному взгляду. Если начнется проверка документов, вероятно, ищут нас». Большая часть военных поднялась на палубу, с ними четверо в гражданском, а двое остались внизу. Мы успели шепотом сказать друг другу: «Возможно, нас кто-то предал. Ищут нас. Надо прыгать». Паспортный контроль приближался, перед нами был еще десяток пассажиров. Я перешагнул через ограду и схватил спасательный круг. Какой-то элегантный господин, из стоявших рядом, с испугом сказал: «Вы что?..» Что он еще говорил, я не слышал, тут

же прыгнул в воду. Мне показалось, что я утонул, но вода быстро вытолкнула меня на поверхность благодаря спасательному кругу. Первое мое восклицание: «Живела Москва!» Слышу шум с корабля. Кричу: «Смерть титовской банде!» Прозвучал и голос Милована: «Долой палача Ранковича!»

Течение несло нас, корабль медленно удалялся, справа замаячил остров Ада-Кале. Мы закричали: «Румыния! Румыния!» А с берегов Румынии никакого голоса, никакого сигнала, будто пустые земли. Идет мелкая волна, болтанка, я беспомощен, как никогда – в воде-то до сих пор не был. Окликаю Милована, тот отвечает: «Держись за круг, не могу тебе помочь». Слышу выстрел с югославской стороны или с корабля: кажется, что пули прошивают воду возле нас. У меня светится надежда: если выдержит круг, может, кто-то с румынского берега спасет. Корабль далеко, почти за километр, но уже медленно начинает разворачиваться. Он ускоряет ход, я вижу, как вертятся его колеса. Казалось, вот-вот они размозжат мне голову. Я думал, что до гибели остались считанные минуты, и решил: «Гибнешь – опускайся на дно с неразбитой головой». Расстояние до корабля – метров двести, уже слышны крики, и женские и мужские: «Хватайте его!» Пальцы ослабли, я готов был выпустить веревки спасательного круга. Но в эту минуту между кораблем и солнцем появилась моя мама в полный рост. Она видит меня, и я вижу ее глаза. Пальцы крепко сжали веревки. И в ту же секунду меня хватает рука человека из маленькой лодки и втаскивает на борт. Я подумал, что это рыбак – он был в лохмотьях. На чистом сербском языке он мне сказал: «Ложись!» Корабль в десятке метров, он надвигается, вот-вот нас потопит, уже бросают веревки с крюками, чтоб зацепить лодку. Поднимаюсь на колено, выхватываю из-под плаща пистолет и даже кричу: «Назад, убийцы!». Когда сегодня вспоминаю этот свой жест, вижу, что он был непродуманным, я мог стать мишенью для снайперов. Тут раздались предупредительные выстрелы с румынской стороны, они означали: «наши воды – не для прогулок и убийств». С какой-то невероятной быстротой рыбак привез меня к берегу. Мы шагнули по песку; он взял меня под руку и помог подняться на холм, где был караул. Я чувствовал боль в сердце. Солдаты растерли меня спиртом, дали воды, переодели в солдатскую одежду и отвели на лужайку, где уже были трое моих друзей, которые доплыли без чужой помощи. Милован валялся в траве и хохотал как ребенок. «Что с тобой, Милован?» – спрашиваю. – «Радуюсь, что мы живы».

Через три месяца в городе Крайова нас навестили трое румынских офицеров – майор и два капитана. Один из них с теплейшей интонацией по-сербски спросил: «Узнаешь меня?» Это был тот «рыбак», что меня спас. Встреча для нас была праздником; в те минуты это были самые близкие нам люди. Из их слов мы поняли, что они хорошо осведомлены в делах Югославии. Они сказали, что они офицеры румынской военной разведки и что за удачное наше спасение они получили ордена, двухмесячный отпуск и повышение по служ-

бе. Ветер жизни разбрасывает людей: очень жаль, что мы их больше не видели и не знаем их имен. Во главе секуритате той пограничной области (Крайова и Турн-Северин), был полковник Сокол. Он с нами беседовал в управлении внутренних дел области спустя несколько дней после нашего вступления на румынскую землю. Сокол блестяще говорил по-русски и с гордостью повторял: «Я окончил институт имени Дзержинского».

А.Б. Как сложилась ваша жизнь потом? И расскажите немного о детстве и юности: что было, кроме Голого Отока?..

Й.С. В живописном черногорском селе Виничи, где я родился, много виноградников и фруктовых садов, а вокруг труднопроходимые горы. У родителей было много овец, коз и коров; с начала мая до конца октября мы жили на горном пастбище, на горе Каштак. У всех членов семьи были свои обязанности. Я ухаживал за ягнятами. Часто залезал на высокую гору, откуда видна почти вся Черногория, в том числе и вершина Ловчена с церковью, в которой покоится величайший поэт южных славян Петар Петрович Негош. Взгляд мальчишки привлекал Дурмитор – величественная гора, разделяющая Черногорию и Герцеговину. Дальше были горы Румия, Комови, Проклетие, они окружали Скадарское озеро... Есть в тех местах и грандиозная пещера Капавица, в ее подземных ручьях вода такая холодная, что стакан трудно выпить. Много я запомнил с раннего детства. Этот великий мир всегда жил в моей душе, независимо от того, где я потом оказывался. Очень рано начал писать стихи.

Недалеко от моего родного дома монастырь Острог, где в скале покоится святой Василий Острожский. Дома были гусли, я слушал эпические песни о косовских героях. Запомнились события 1934 года, когда в Марселе был застрелен король Югославии Александр. Сорок дней был всенародный траур, каждый день раздавался печальный звон колоколов. Мы с мамой часто гостили в доме ее родителей и братьев. Еще не кончились траурные дни, когда арестовали моего дядю Нико Милатовича, человека, который сыграл большую роль в моем становлении. В школе я учился в соседней деревне, в гимназию пошел в Даниловграде. Доучивался после трехлетнего перерыва. Первый класс прервала война. Во время войны я с семьей находился на партизанской территории.

В 1946 году поехал добровольцем в Боснию строить железную дорогу в Брчко-Бановичах. В 1948 окончил полный курс гимназии в Никшиче, во время учебы был корреспондентом черногорских газет «Победа» и «Омладински покрет», писал репортажи о строительстве железнодорожной ветки Никшич–Подгорица. Через два дня после окончания гимназии поехал добровольцем на строительство авто-трассы Белград–Загреб. На этой стройке работал вместе с интернациональной студенческой бригадой из Парижа. Возвращение в Черногорию было тревожным. Уже начинались аресты коммунистов в

связи с резолюцией Информбюро. С сентября 1948-го, по рекомендации ЦК КПЮ, учился на факультете журналистики и дипломатии Белградского университета. В конце года был арестован, но вскоре освобожден. Вторично арестован 21 декабря 1949 года. Находился в заключении в тюрьме Главняча, а с 27 апреля 1950 до середины августа 1951 года – на Голом Отоке.

Потом учился на философском факультете Белградского университета. 17 июня 1953 года вновь арестован, на сей раз в Черногории. По пути из Подгорицы в Белград удалось выпрыгнуть из поезда, когда состав проходил через мои родные места. Два года и два месяца скрывался, был объявлен в розыск. Твердо решил: если буду окружен, подорвать гранатой и себя и врагов. В конце августа 1955 года был освобожден от ответственности (сыграли роль письма матери в Скупщину). С октября продолжил учебу на философском факультете, окончил его в 1957 году. Посещал занятия по специальности «мировая литература» и работал в издательстве «Нолит».

После прыжка в Дунай я три года прожил в Румынии, учился в Ясском университете на филологическом факультете. С октября 1961 года живу в Советском Союзе. Первые семь месяцев учился в Костроме на историческом факультете пединститута, потом на факультете журналистики Ленинградского университета, который окончил в 1964 году; тогда же вступил в Союз писателей. Потом до 1968 года – аспирантура филологического факультета ЛГУ. Участь в аспирантуре, преподавал на кафедре славистики литературу южных славян. Стал кандидатом филологических наук. С 1969 по 2004 год работал в Пушкинском доме (Институт русской литературы Академии наук СССР), в отделе сравнительного литературоведения.

Неоднократно бывал во всех советских республиках и в большинстве областных центров. Печатался более чем в ста советских газетах и в десятках журналов. Видел все европейские и некоторые другие страны. Югославию не видел 37 лет, лишь в 1995 году югославское правительство сняло запрет с моего имени. Из восьмидесяти семи заказанных на почте телефонных разговоров с мамой югославская УДБА разрешила мне всего четыре. В Интернете кто-то бросил ложную весть, что я участвовал в покушении на Броза Тито. Это не соответствует истине; никаких покушений ни на кого не планировал и не планирую.

А.Б. Тито умер в 1980 году, а вам было разрешено вернуться в Югославию только через пятнадцать лет после этого. Как вы это объясните?

И.С. Вы знаете, в какой грандиозный спектакль были превращены похороны Броза. Собрались государственные и прочие деятели со всего капиталистического мира. Они очень ценили Тито за его умение постоянно подрывать доверие к СССР и социалистическим странам. В первые же годы после выхода Тито из Коминформа уси-

лилась американская помощь Югославии – деньгами, оружием и всем возможным (на Голый Оток мы были брошены в американских наручниках; когда темной ночью нас швырнули в утробу «Пуната», при любой попытке облегчить боль эти наручники автоматически сжимались, у большинства были опухшие, посиневшие руки). На похороны Тито прибыли и высокие представители социалистических стран, в том числе Брежнев. Он еле двигался, но слезы изобличали большую печаль по близкому другу, которому Брежнев и Подгорный не так давно прикрепили на грудь орден Ленина. Прибыли и главы так называемых неприсоединившихся государств (эти государства считали Тито одним из своих выдающихся лидеров). По всей Югославии шли скорбные процессии; картина была такая, будто рыдали не только ближайшие соратники Тито, но и жертвы его режима. Звучали лозунги и призывы пропагандистов (в том числе многих писателей): «И после Тито – Тито!» Загадочна магия тирании: жертвы плачут и скорбят по вождю – тирану и своему мучителю. Тиран ушел, но титоизм остался и не увядал; его корни глубоко проникли в югославскую почву.

Сеть титоизма хотела изловить меня и на берегах Невы, в городе Октября и Ленина. 1987 год. В Ленинграде готовилась международная конференция, посвященная 200-летию Вука Караджича. Главными организаторами были ЛГУ и ИРЛИ (Пушкинский дом). Обширный список докладов (в нем было и шесть докладов из Югославии) опубликовали заранее и разослали по славистическим учреждениям разных стран. В списке докладчиков под номером один был Николай Скатов – директор Пушкинского дома. Под номером два – Станишич. Мой доклад назывался: «В.С. Караджич и А.С. Пушкин». Я готовился к докладу с особым тщанием, старался проанализировать все пушкинские переводы сербских народных песен, впервые изданных Караджичем. Об этих переводах написано немало, но мне удалось сказать кое-что новое. В ночь накануне конференции позвонил Скатов, с которым у меня всегда были самые добрые отношения. Он был взволнован, даже голос дрожал. «Йоле, извини за поздний звонок, есть неприятная новость. Ты знаешь, что я к тебе отношусь дружески. Но мне приказано завтра твой доклад не допустить к прочтению, и ты, пожалуйста, не появляйся в конференц-зале».

В шесть утра в дверь моей квартиры позвонили. В дверях стоял представитель обкома КПСС. Он извинился и сказал: «Товарищ Станишич, мне приказано сопровождать вас в обком». «В чем причина?» – спросил я. «Ничего не могу вам сказать, мне так приказано. Внизу ждет машина». По дороге я не произнес ни слова, он тоже. Вошли в обком, поднялись в кабинет, там ждали четверо молодых людей. Никто из них не представился. Сопровождающий, уходя, сказал: «Ребята позаботятся о Вас». Они смотрели на меня с пристальным вниманием. Предложили мне газеты. Заговорили о завтраке, принесли роскошные бутерброды с икрой, колбасой, рыбой, какие-то напитки. Одного из них – того, что активней других меня

угощал, – я вспомнил: более десятка лет назад он учился на кафедре славистики; он активнее других угощал меня. Я ни к чему не приотронулся. Начала мучить жажда, но я и воды не попросил – настолько все казалось отвратительным. А они закусывали с аппетитом. Прошло два часа моего пребывания в этом кабинете. Знаю, что в десять начнется конференция, и спрашиваю: «Зачем я здесь?». «Мы не знаем, нам так приказано». – «Кто приказал и почему?» – «Мы на это не можем ответить, это знает МИД». – «Наверное, вы это министерство представляете на территории Ленинграда?» – «В какой-то степени да, но мы – мелкие служащие. Мы не можем спрашивать – мы законопослушны». – «Я закона не нарушаю, и все-таки хотел бы знать, зачем я здесь отнимаю у вас время, ведь у вас есть и другая работа». – «Нам сегодня приказано заботиться о вас». Иногда они по очереди выходили из кабинета, возвращались. Когда со мной остался лишь один из них, он шепотом сказал: «Я чувствую, происходит что-то тяжелое для Вас, но в чем дело, нам не сообщают».

Снова собрались все четверо и стали меня упрашивать спуститься в ресторан, где приготовлен отдельный стол с хорошим обедом. «Я редко обедаю в ресторанах. Двенадцать часов прошло, я бы хотел поехать домой». Они переглянулись, и двое вышли с кем-то проконсультироваться. Вернулись минут через десять и говорят: «Если вы хотите поехать домой, мы вас будем сопровождать в нашей машине». – «Спасибо – думаю, что сопровождать меня излишне, вашу машину не будем эксплуатировать. У меня руки не связаны, и здесь, у Смольного, я остановлю такси. Вы мне ничего не хотели сказать, я же вам скажу: на конференцию я не пойду. И даже такси поедет на Васильевский остров не по Университетской набережной, а через мост лейтенанта Шмидта». По их лицам я понял, что у них есть сомнения. И все-таки добавил: «Я никому не угрожаю и надеюсь, что на меня сегодня не будет покушений. А вы скажите своим детям, если они у вас есть, или через десять лет своим внукам: «Мы берегли от злых взглядов писателя и коммуниста Станишича». – «Мы не знали, что вы умеете шутить». – «К сожалению, я не умею шутить, но кто-то “шутит“ надо мной». Все четверо проводили меня на улицу. Я поймал такси; всю дорогу не оборачивался, но видел, что две машины сопровождали меня почти до подъезда. Через несколько дней я узнал, что члены партии из ЛГУ и Пушкинского дома были мобилизованы на подходах к Университету, и в каждой группе был кто-то, знавший меня в лицо, а рядом с каждой засадой были специальные люди в штатском, которые, в случае моего появления, должны были меня куда-то забрать.

Через неделю я узнал, что МИД СССР получил ноту от МИД Югославии, в которой было сказано: «Югославские ученые не будут участвовать в конференции, посвященной Вуку Караджичу, если там будет Йоле Станишич». Ноту якобы подписали и югославские ученые, которые, в предвидении их участия в конференции, были в той ноте упомянуты. Через полгода в Москве, на конференции по теории

художественного перевода я встретился с Миодрагом Сибиновичем, профессором Белградского университета, известным литературоведом и переводчиком, и он извинился передо мной за беззаконие, которое имело место. Его слова были: «Йоле, мы, ученые, с этой нотой и этими запретами не имеем ничего общего, никто из нас не сказал ни слова против тебя. Но в нашей группе, по приказу особой югославской инстанции – ты знаешь, какой, были два полковника, которые никогда никакой литературой не занимались; их заданием было повредить тебе, создать вокруг твоего имени смуту, вызвать конфликт между государствами». Титоизм был тогда в действии и жил долго. Кое-где на руинах Югославии он живет и сегодня.

А.Б. Ваша позиция как свободолюбивого революционного поэта определена с ранней юности, когда учеником гимназии вы написали поэму о черногорском всенародном восстании против оккупантов. Одна из ваших книг («Антенна на мраморе») открывается словами: «В моих родных краях война ранила не только каждый дом, но и каждый камень. Черногорцы говорили: на наших скалах снаряды сожгли и орлиные гнезда. Если когда-нибудь люди забудут ужасы войны, раны на камнях расскажут векам о трагическом времени. Вокруг моего дома много скал. В огне войны, на самых недоступных местах этих скал партизаны высекли слова: “СМРТ ФАШИЗМУ – СЛОБОДА НАРОДУ!” Никаким вражеским пулям не удалось стереть эти слова. С ранней юности я вижу в них самую заветную, самую величественную поэзию».

Вы говорили мне, что Ваши предки по линии отца четыреста лет гибли в бою от турецкого ятагана. В день, когда родился ваш отец, погиб его отец – ваш дед. В 1912 году в битве за освобождение Скадара, последней черногорской битве с турками, погибли два родных брата отца и еще двадцать ваших родственников, а отец получил семь ранений, две турецкие пули остались на всю жизнь в его теле, и он унес их в могилу. Но оказалось, что можно дружить с турком – как с родным братом. Ваше «Письмо Назыму Хикмету» – пример революционного братства в поэзии. Цитирую первые и последние строфы (перевод Всеволода Рождественского).

Пять веков черногорцы и турки клинки своих сабель скрещали,
громоздили паши глыбы башен из наших голов,
с черепами турецкими в Цетинье колья стояли,
и, где кровь пролилась, нет поныне ни трав, ни цветов.

До сих пор еще гневом костры в моем крае дымятся,
в битве на Косовом поле не сломлен наш дух боевой,
но звезда Октября и дороги изгнания – братство
принесли нам с тобою и общей сдружили судьбой.

Помню Мамулу, Лопарь, жестокою сеньскую бурю,

стражу смерти я видел на волчьих холодных горах.
И в осином гнезде, там, в застенках на острове Гргуре,
был твой стих для меня песней сердца и саблей в руках.

Этот факел я поднял средь мрака и бурь завыванья.
Ветвь племен непокорных, родной Черногории сын,
верен пламени сердца и предков своих завещанью,
я двадцатому веку скажу: «Этот турок – мой друг, мой Назым!»...

В море века нам виден в грядущее парус летящий,
и желанной зари всей душою касаемся мы.
Турну-Северин – берег свободы манящий –
звал от Бурсы, от Главнячи, мрачной белградской тюрьмы.

Я в Констанце стою, где на площади грустный Овидий,
гроздя боли своей я готов обнажить перед ним.
Спали голода цепи, Москву я мечтаю увидеть.
Там, под небом московским, я встречу с тобою, Назым!..

Сталинграду, Байкалу, Неве и широкому Дону
я хочу отнести моей родины жаркий привет.
Я судьбою изгнания тоже подобен Назону
и на руку твою опираюсь по-братски, Хикмет.

Ты грустишь по Стамбулу, а я все по Зете, по Ибру, –
дух поэзии вольной не служит тиранам земным,
тьнь Овидия вечно стремится к родимому Тибру,
где стоит отблеск зорь, в куполах отражающий Рим.

И.С. Я по природе интернационалист. Ощущаю духовное родство с Федерико Гарсиа Лоркой, Пабло Нерудой, Че Геварой, Яннисом Рицосом, Микисом Теодоракисом. Доводилось встречаться со многими светлыми личностями. К примеру, с легендарным генералом, героем Сопротивления, ученым-геополитиком и писателем Пьером-Мари Галуа. Это было во Франции в мае 1996-го. Мы раскрывали друг другу душу, размышляли о судьбах человечества. И он, и я одинаково высоко оценивали героическую победу Советского Союза над фашизмом и с глубочайшей болью переживали трагедию этой крепости мужества и свободомыслия. Для черногорцев Россия всегда являлась величайшей надеждой и опорой. Такое священное отношение мое поколение перенесло на СССР. Советский Союз был самой величественной цитаделью надежд. Я до сих пор не могу смириться с тем, что эта могучая держава, грандиозное содружество народов разрушено. Гибель СССР для меня – самая страшная беда и трагедия после всемирного потопа. Я понял, что и Галуа тяжело переживает эту трагедию. Он тогда сказал мне: «Если б я смог увидеть возрожденную Россию такой же могучей, как СССР, я отправил бы свою душу с песней на небеса».

А.Б. В мае 1999 года, когда военно-политический альянс ястребов-«миротворцев» бомбил Югославию, вы на первой странице «Правды» опубликовали открытое письмо Клинтону, президенту Америки.

И.С. Это письмо – призыв к сопротивлению агентам вселенского зла. Вот выдержки из него:

«Вы называете Вашу страну «самой миролюбивой», «цивилизованной», «защитницей прав человека» и «свободы личности», а Ваша политика и политика некоторых Ваших предшественников, стоявших у штурвала государства, превратила эту огромную страну в страшилище, в планетарную фабрику высших технологий смерти, превратила могучую государственную машину в мирового жандарма и самого опасного террориста, которого помнит человеческая история. В эти дни в Вашингтоне отмечается 50-летие НАТО. Говорится об абсолютном торжестве военной мощи, о победе нового мирового порядка, НАТО именуют «гарантом всеобщего мира». Но пакт НАТО никогда не был армией мира, он своими действиями наглядно показал, что является сборищем оплаченных наемников, чья миссия никогда не имела в себе ничего гуманного, это войско палачей.

По моему мнению, вы являетесь фактически верховным главнокомандующим самых агрессивных, самых лицемерных и самых преступных налетов на мою Родину – Югославию. Вы говорите, что вы не захватчики, но «защитники несчастных албанцев» в Косово, а смертоносная стая остервеневших самолетов (их множество, более тысячи) бомбит всю мою Родину, от древнейших национальных святынь до больниц, музеев, родильных домов и детских яслей. Вы никому не помогаете, вы уничтожаете все народы моей Родины – и сербов, и черногорцев, и албанцев, и других. У вас нет никакого права хоть камешек бросить на наши сады и поля, а вы наши пашни засеяли ужасом и полили огнем, замутили наши реки кровью наших людей и ядом ваших взрывов. Вы перерезали мосты между краями и народами моей Родины, и думаете, что таким способом разъедините наши души, что мы никогда больше не сможем построить между собой мосты доверия и братства.

Нет у меня и моего народа (у сербов и черногорцев) ненависти к албанцам. Мы с давних времен жили не только в соседстве, но и в подлинной дружбе с албанцами и в Косово, и в других краях Югославии, а также с теми албанцами, которые проживали на своей исконной Родине – в Албании. Мы помогали друг другу в трудностях и несчастьях, а добро и счастье делили по-братски. У нас не было и нет никакой национальной нетерпимости. Мы не оскверняли друг у друга ни храмы, ни национальную символику. Взаимное уважение обычаев – это была норма нашей совместной жизни. Благородные традиции всегда помогали нам решать любые внезапно возникшие вопросы. Нередко у нас возникали родственные связи и побратимст-

ва. Мы с албанцами веками жили вместе и будем жить вместе. Вы же посеяли смуту, бросили семя ненависти между нами, чтобы «под покровительством миротворцев» прибыть на Балканы и укорениться там как оккупанты...

Вы забываете, что сегодняшние сербы и черногорцы – потомки того бессмертного войска, которое 28 июня 1389 года маршировало в вечность, погибнув за свою веру и свободу. Напрасны ваши надежды на раскол нашего народа. Вы осквернили наше святое поле – Косово. Вы творите геноцид над сербами, над албанцами и черногорцами в Косово и над всеми народами, проживающими в Югославии...

Рухнули все мифы о вашей демократии, о вашей свободе, о вашей цивилизации. И могилы наших предков будут бороться против того рабства, которое вы готовите моей Родине и другим народам. Вы бомбили гордые скалы моей Черногории, на которые никогда не могла упасть тень врага. Тень вашего преступления, вашего позорного оружия уже упала на наши вечно свободные горы, на Ловчен – священный алтарь Черногории. Наши скалы вздрагивают и говорят: «Остановитесь! Вулканы нашего возмездия могут быть страшны». Между нами (жертвами) и вами (агрессорами и захватчиками) уже растет океан ненависти, и в этом виновны только вы...

Вы, господин президент, категорически заявляете о своем желании и решимости, чтоб все европейские народы от Балтийского до Средиземного моря вошли в объединенную Европу, в ваш «новый порядок». В ваш порядок преступлений и порабощений моя Родина – Югославия – не войдет. Она имеет свои святыни, свою этику, свою славную историю. Вы хотите, чтобы мы положили свою голову на плаху, где бы вы во имя нового порядка ядерной гильотиной отсекали голову и имя моей Родины, чтоб мы посрамленными вошли в XXI век и покорно молчали под Вашим запятанным позором знаменем и под Вашим угрожающим всей Европе кнутом.

Мы, сторонники жизни и созидания, погибнем, но рабами никогда не будем. Нас можно сжечь, но никому не удастся покорить. Сопротивление злу, сопротивление агрессии – это исконный зов нашей крови и нашей совести; это многовековой национальный императив моего народа. Мой народ не будет просить Вас: «Прекратите уничтожение нашей Родины!» Я знаю, что НАТО фактически подчиняется только Вашим планам, приказам и желаниям. Ни милости, ни сочувствия мы от вас никогда не примем...

Я знаю, что в духе преступных планов вы и дальше будете бомбить мой народ или другие невинные народы. Мы до последнего человека будем сопротивляться Вашей агрессии так, как сопротивлялось нашествию Османской империи шестьсот десять лет тому назад войско сербского царя Лазаря на Косовом поле. Напрасны все Ваши надежды на победу, даже если вы десятикратно умножите свои агрессивные смертоносные эскадрильи».

Множество преступлений совершено натовскими гангстерами уже после разгрома Югославии. Круговой поручкой опутаны многие

охваченные лакейским ражем страны, потерявшие суверенитет. Тут и там на просторах земного шара почва дрожит. Страшно ходить по многим полям, а еще страшнее – оказаться перед открытой пастью кровожадного зверя. Этот мир надо менять. В нем должно быть больше добра.

А.Б. В 1999 году вы были инициатором создания Общественного трибунала, который осудил руководителей всех государств, что под знаменем НАТО бомбили Югославию. Какое заседание Вам, как члену и координатору трибунала, запомнилось больше всего?

И.С. Всего было шесть заседаний: в России, в Киеве, Белграде, Софии, Берлине и Нью-Йорке – совместно с американским общественным трибуналом (его возглавляет бывший генеральный прокурор США Рамсей Кларк; вот уже тридцать лет он мужественно разоблачает реакционную политику американских правителей). Нью-йоркское заседание происходило в 2000 году в зале, который носит имя Мартина Лютера Кинга. Было около тысячи зрителей, представители полусотни телекомпаний, десятки дипломатов из разных стран. Помню слова Кларка, открывшего заседание трибунала: «Я – американец, и мне стыдно, что я американец. Но я не имею права и не хочу выйти из этой оболочки. Боюсь, мало кто из вас чувствует ту опасность, которая грозит уничтожением всей человеческой культуры, а может быть, и жизни на нашей планете, из-за преступной политики американского правительства. Недавно я был на заседании в сенате и спросил Мадлен Олбрайт: «Правда ли, что из-за американских санкций в Ираке погибло более полумиллиона детей?» Она с улыбкой сказала: «Это правда. Но наша цель оправдывает средства». Такой цинизм будет оплачен самой дорогой ценой. История всему ведёт счёт. Час возмездия настанет, как бы ни казалось, что время зла вечно.

А.Б. Излишне спрашивать, какая тема – доминанта вашей поэзии. Вы всегда поддерживали борцов за свободу и национальное достоинство всех народов. Осуждали злодеяния черных полковников в Греции, террористическую диктатуру Пиночета в Чили, агрессию американского империализма во Вьетнаме и других точках планеты. Трагедия любого народа затрагивает ваши душевные струны. Вы беседуете в стихах с Нерудой и Рицосом, как с друзьями. Вы – люди одной свободолюбивой идеи и без воплощения этой идеи не видите счастья и спасения земли. Однако глубочайшую рану нанесла вам именно трагедия вашей родины во времена титовского правления...

И.С. Голый Оток – это универсум зла. Эта тема меня никогда не оставит в покое. Я словно камень, заговоривший от горя. Не могу забыть людей, чьи кости лежат на дне Адриатики. До сих пор слышу их вопли. Пытаюсь, хотя знаю, что они меня никогда не услышат,

сообщить им о том, что происходит с миром. В Советском Союзе нашли убежище двадцать пять югославов, которые пережили титовские лагеря смерти. Большинство из них исторические личности – известные революционеры: Владо Дапчевич, Милета Перович, Милан Калафатич, Бранко Вукелич, Лазарь Попивоца, Вукашич Милич, Момо Джурич, Стеван Дриняк, Душан Майцен... Я был самым младшим из этих двадцати пяти. Они мне были как родные братья. Сегодня из них в живых только я. Я внутренне беседую с ними, как и с теми великомучениками, что убиты на Голом Отоке. Самое трагичное – что я их, мертвых, не могу ничем порадовать. Страна и идея, которая воплощалась в жизнь с их участием, погибла. А в России – стране их идеалов – сегодня буйствует хаос и самый отвратительный антикоммунизм. Временами меня посещает кошунственная мысль: они счастливы, что не видят, как поруганы и осквернены их идеалы, как цинично оболгана славная советская эпоха.

Я словно еще не вышел с Голого Отока, хотя после освобождения из титовских оков видел чуть ли не полпланеты. Кто пережил Голый Оток, тот ни во сне, ни наяву не может закрыть эту черную страницу истории. Эта трагедия вышла за рамки Югославии, стала сигналом тревоги для всех людей: никогда и никому не позволить подобного беззакония и зверства. Голый Оток напоминает об опасности, которая грозит любому народу, на чьей земле тираны возьмут власть. Когда-то я писал своей маме: «Я вернусь из тысячи и одной смерти». Даже если бы я остался в полном одиночестве, я бы ни на миллиметр не свернул со своего пути. Идеология коммунизма – закон истории. И она будет претворена в жизнь, пусть через сто ли двести лет. Свободолюбивые люди мира сделают всё, чтобы в рядах компартий больше не было аферистов и подонков типа Броза, лицемеров вроде вульгарного Хрущева, предателей – как Горбачев и Ельцин (чью измену никто не сможет ни «догнать» ни «перегнать»), ибо она подорвала все прогрессивное движение на планете – лишив человечество ярчайшего светильника свободы – СССР).

Я верю в то, во что верил. Верю, что коммунистическая идея доживет до гармоничного воплощения. Верю в несокрушимость духа революции (без крови). Знаю, что это романтизм, но это не пустая иллюзия: революция станет реальностью и спасет мир вопреки всем угрозам и блокадам. Сейчас немало публицистов, которые выступают против свободомыслия «детей коммунизма». На обложках их книг – наши глаза, завязанные красным платком. Но ни красный, ни черный платок не могут завязать мертвый узел на нашей душе. Коммунизма еще не было на планете нигде, было только трудное начало пути, стремление к великой цели. И светильник этой цели никогда не погаснет. В глазах моих – только свет. Я верю в силу человеческой совести, воли и разума. Верю в будущее, как бы его ни пытались у нас отнять.

Об авторе

Йоле Станишич (Јоле Станишић) родился 6 мая 1929 года в селе Виничи близ Даниловграда (Черногория). Поэт, критик, публицист. В годы Народно-освободительной войны (1941-1945) был с братьями в партизанском отряде. В 1949-1951 узник лагеря на Голом острове. Окончил философский факультет Белградского университета и факультет журналистики Ленинградского университета. С 1961 года живет в России. Много лет работал в Институте русской литературы РАН (Пушкинском доме). Инициатор и координатор Международного общественного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии. Академик Международной славянской академии.

Автор монографии «Йован Дучич и русская литература» (Л.: Наука, 1989). В переводе на русский изданы книги его стихов: Упрямые скалы. М.-Л.: Сов. писатель, 1966; Седые орлы. Л.: Лениздат, 1969; Антенна на мраморе. Л.: Сов. писатель, 1972; Зёрна огня. Л.: Лениздат, 1973; Струны земли. М.: Современник, 1976; Морщины камня. М.: Сов. Россия, 1984; Глаза гор. М.: Сов. писатель, 1981; Солнце на скале. Л.: Сов. писатель, 1986; Заветные струны. Воронеж: ИПФ Воронеж, 2006. Произведения вошли также в «Антологию сербской поэзии**» (М.: Вахазар; РИПОЛ классик, 2004. С.591-638.).

Содержание

Ядран. Перевод С. Давидова	7
«Злодейство прильнуло ухом к моему дому...» Перевод А. Базилевского	8
«Кровью облитый мрамор...». Перевод автора.....	9
«Идёт утро босое...» Перевод автора.....	9
«О Ядран – зеркало...» Перевод автора.....	10
Расстояние Перевод А. Гитовича	10
Мала Драга. Перевод А. Базилевского	11
«Каменные острова...» Перевод Н. Скрёбова	12
«Солнце моё...» Перевод автора	13
«Те, что выросли из этой земли...» Перевод автора.....	13
Развяжите мне глаза! Перевод А. Аквилева	14
Велебитская легенда. Перевод В. Сосноры.....	15
Мраморные моряки. Перевод В. Сосноры.....	17
«Солнце льёт лучи раскалённые...» Перевод А. Базилевского.....	18
Бойкот. Перевод автора	21
«Пунат» – пиратский корабль. Перевод В. Рождественского.....	23
«Пунат». Перевод А. Базилевского.....	24
«Меня убьют в темноте...» Перевод Н. Скрёбова.....	26
Мне снилась зелёная ветка. Перевод автора.....	26
Ночь. Перевод А. Аквилева	27
Выкапываю камень. Перевод С. Ботвинника	28
Сквозь пламя. Перевод В. Кузнецова.....	29
Волны стонут. Перевод С. Ботвинника.....	30
Память лимонных деревьев. Перевод В. Рождественского	31
Трагач. Перевод автора	33
«Знала бы эта ель...» Перевод А. Базилевского	33
Обращение Велебита к Ядрану. Перевод В. Рождественского.....	34
«Я задушен безмерной болью...» Перевод А. Базилевского.....	36
«В этой чёрной ночи поруганной...» Перевод А. Базилевского.....	37
«Щербатыми каменистыми гребнями...» Перевод А. Базилевского	38
«Горизонт затмился...» Перевод А. Базилевского	40
Зов скелета с оторванной рукой из теснины голого острова Перевод А. Базилевского	41
Морщины камня Перевод А. Базилевского	44
Яма 101. Перевод В. Рождественского	45
«Мало того, что я в кандалах...» Перевод А. Базилевского.....	47
«Что ты делаешь, земля?...» Перевод А. Базилевского.....	49
«Только мы думали тронуться в путь...» Перевод А. Базилевского	50
«Камень ослеп...» Перевод А. Базилевского	51
«Каждое утро...» Перевод А. Базилевского	52
«Вынырнули журавли...» Перевод А. Базилевского	53
Жажда. Перевод М. Дудина	54
Голод Перевод А. Базилевского	56

«Может, история правда по кругу вертится...»	
<i>Перевод А. Базилевского</i>	57
«Время жути – было ли хуже?...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	57
Крик. <i>Перевод А. Базилевского</i>	58
У врат ада. <i>Перевод А. Базилевского</i>	58
«Ночь распустила косы...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	59
«Где я?...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	60
«Сквозь бойкот и сквозь криков рой...»	
<i>Перевод А. Базилевского</i>	61
«Узники в строю...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	63
Однажды утром в Малой Драге. <i>Перевод А. Базилевского</i>	65
В сердцевине века. <i>Перевод А. Базилевского</i>	69
Стозубый ветер. <i>Перевод А. Базилевского</i>	74
«В сердце моём...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	77
«Одиночество...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	78
«Когда Горан тебе посвятил...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	79
Незаполненный протокол. <i>Перевод А. Базилевского</i>	80
«Земля моя, болью выжженная...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	82
«Если море окаменеет...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	83
«Я ранен, и это неизлечимо...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	83
«Кто-то боится грома...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	83
«Счастливы те, кто погиб...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	84
«Молния – огненная пчела...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	84
Ядранский Прометей <i>Перевод А. Базилевского</i>	85
«Солнце из крови рвётся...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	86
«Роза среди шипов просыпается...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	86
«Планета моя!...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	87
«Сегодня эта земля встречает убийцу...»	
<i>Перевод А. Базилевского</i>	88
«Здесь вспарывают кожу...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	89
«Скорчилось небо...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	90
«Под пирамидой наших костей...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	92
Голый остров <i>Перевод А. Базилевского</i>	93
Остров Раб. <i>Перевод автора</i>	94
«Что же ты издеваешься, время...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	95
Мраморная льдина. <i>Перевод автора</i>	96
Антенна на мраморе. <i>Перевод В. Сосноры</i>	98
Мраморная раковина. <i>Перевод автора</i>	99
Ревидирцы. <i>Перевод автора</i>	101
Прощайте, руки. <i>Перевод В. Кузнецова</i>	103
Голос убитых. <i>Перевод В. Рождественского</i>	105
Убийца. <i>Перевод автора</i>	107
Вопли камня. <i>Перевод М. Дудина</i>	108
Замурованный крик. <i>Перевод М. Дудина</i>	116
«Ты осчастливил мою родину...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	125
Ненаписанное письмо. <i>Перевод автора</i>	126
Тирания <i>Перевод А. Базилевского</i>	128
«Меня смололи камнедробилки...» <i>Перевод А. Базилевского</i>	132
«Навстречу мне идёт солнце...» <i>Перевод автора</i>	133

«Песне моей ломали руки...» <i>Перевод автора</i>	133
«Где вы, руки мои...» <i>Перевод автора</i>	134
Передайте им. <i>Перевод А. Базилевского</i>	135
Не предайте забвению! <i>Перевод В. Кузнецова</i>	136
«Лишь ветру – все наши жалобы...» <i>Перевод автора</i>	137
В глазах моих – только свет (Беседа с автором книги)	139
<i>Об авторе</i>	187

Переводы А. Базилевского публикуются впервые

*Иллюстрации Э. Мосиева взяты из книги:
Й. Станишич. Упрямые скалы. М.-Л.: Сов. писатель, 1966*

Издательство »ВАХАЗАР« (Москва)

<http://www.wahazar.ru>

СРПСКО-РУСКИ КРУГ

литературно-художественный альманах



СЕРБСКО-РУССКИЙ КРУГ

књижевно-уметнички алманах

2010/2011

ИЗ СРПСКОГ ЕПА

ПОЭЗИЈА Фёдора Тютчева, Јована Јовановића Змаја,
Алексе Шантића, Матије Бећковића, Душана Радовића,
Валерия Латынина, на Дафинка Станева

ПРОЗА Иве Андрића

ДРАМА Радована Караџића

ОЧЕРКИ Предрага Пипера, Љубинка Раденковића
Сербская поэзия на русском языке (библиография)

2011/2012

РУССКИЕ БЫЛИНЫ

ПОЭЗИЈА Александра Блока, Владислава Петковића Диса,
Максима Багдановича, Драгана Лукића, Андрея Голова

ПРОЗА Радоја Домановића

ДРАМА Бранислава Црнчевића

ОЧЕРК Радмила Маројевића

Сербская поэзия на русском языке (библиография - дополнения)

srb-rus-krug@narod.ru

Издавачка кућа »ИГАМ« (Београд)

<http://www.igam.co.rs>

ЙОЛЕ СТАНИШИЧ
ГОЛЫЙ ОСТРОВ – ДНО АДА

2012

BAHAZAP

Тираж 1000 экз.